И. М. КРАСНОПЕРОВ

ДБ
350
К 78

ЗАПИСКИ РАЗНОЧИНЦА

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ П. АНАТОЛЬЕВА И В. НЕВСКОГО

ФБ 350 К-78 92 (К)

И. М. КРАСНОПЕРОВ

ЗАПИСКИ РАЗНОЧИНЦА

С портретом автора

ПРЕДИСЛОВИЕ
Б. П. КОЗЬМИНА

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТ ПРОФЕССУРЫ № 55843

2741/

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

Обложка—гравюра на дереве работы художника Н. П. Дмитревского

Госуд. публичная историческая библиотека РСФСР
85843 | 80

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-ВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЛЕНИНГРАД

Главлит № А-28069 Тираж 3,000 экз.
Изд. № 2999

ПРЕДИСЛОВИЕ

„Казанский заговор" 1863 г. — один из самых ярких и красочных эпизодов революционного движения 1860-х годов. Инициатива этого заговора исходила от Временного народного правительства, образовавшегося в Польше и руководившего начавшимся там в январе 1863 г. восстанием.

Задачей „казанского заговора" было поднять крестьянское восстание в Казанской и смежных с нею губерниях, отвлечь туда часть русских войск, действовавших в Польше, и тем самым облегчить тяжелое положение польских повстанцев в их борьбе с русскими войсками.

Подготовляя восстание, назначенное на весну 1863 г., польские революционеры еще в конце 1862 г. вступили в сношения с существовавшим в то время в России тайным обществом „Земля и Воля", организованным Н. А. Серно-Соловьевичем, А. А. Слепцовым, Н. Н. Обручевым и др. в 1862 г. Общество это ставило своею задачею сплочение всех общественных кругов, недовольных правительством, находя, что „в деле народного освобождения должны сглаживаться спорные оттенки одной и той же свободолюбивой партии". Программа „Земли и Воли" сводилась к передаче крестьянам помещичьей земли за вознаграждение помещикам и к созыву „народного собрания" из выборных представителей народа для определения нового государственного строя. Умеренность и неопределенность этой программы давали возможность привлекать в ряды тайного общества людей, весьма далеких друг от друга по своим убеждениям, и способствовали быстрому росту тайного общества, которому удалось организовать свои отделения во многих городах России. Однако организация, объединявшая в своих рядах разнородные

общественные элементы, не могла быть прочной и долговременной. Разногласия в ее среде должны были рано или поздно проявиться и привести к ее распадению. В начале 1864 г. общество „Земля и Воля" прекратило свое существование. Столь быстрая гибель его была обусловлена и тем, что надежды учредителей общества на повсеместное крестьянское восстание, долженствующее, по их расчетам вспыхнуть в России весной 1863 г., не оправдались. Хотя это общество и сочувствовало предположенному восстанию в Польше, однако руководители его считали свою организацию еще слишком слабой и недостаточно влиятельной для того, чтобы она могла оказать серьезную поддержку полякам. Поэтому представители „Земли и Воли" при переговорах с поляками заявили, что они ничем не могут помочь им, за исключением воздействия на русское общественное мнение.

Между тем восстание в Польше, подготовлявшееся на весну 1863 г. вспыхнуло значительно раньше этого времени; причиной этого послужил рекрутский набор, назначенный русским правительством в Польше на середину января.

Восстание вспыхнуло и охватило всю русскую Польшу. Тогда же под влиянием неудачи переговоров с „Землей и Волей" у польского революционного правительства явилась мысль взять на себя инициативу подготовки восстания и внутри России.

Выполнение соответствующего плана было возложено на проживавшего в Москве французского подданного (поляка по происхождению) Иеронима-Станислава Кеневича. Последний должен был организовать распространение в России напечатанного за границей подложного царского манифеста, возвещавшего бесплатную передачу крестьянам всей помещичьей и государственной земли и призывавшего крестьян захватывать землю, выбирать властей из своей среды и уничтожать всех, кто будет противиться переходу земли в руки крестьянства.

Поляки рассчитывали, что распространение этого манифеста может вызвать волнения и бунты среди крестьян, недовольных реформой 19 февраля 1861 г., передавшей крестьянам недостаточные по

величине наделы и наложившей на них за это тяжелые выкупные платежи.

Подготовляя распространение подложного манифеста, Кеневич между прочим вступил в сношения с казанским комитетом „Земли и Воли" через посредство одного из членов этого комитета поручика М. А. Черняка.

Казанский комитет, считаясь с отношением центрального комитета „Земли и Воли" к польскому восстанию, отказался содействовать активному выступлению в Казанской губернии и предложил Черняку, настаивавшему на подготовке восстания, сложить с себя звание члена комитета. Черняк вышел из комитета, но продолжал дело, начатое им по соглашению с Кеневичем.

Ему удалось привлечь к заговору несколько офицеров казанского гарнизона и кружок молодежи, состоявший главным образом из студентов местного университета. Часть этой молодежи, также принадлежавшая к „Земле и Воле", игнорировала постановление Казанского комитета, обрадовавшись случаю перейти от слов и разговоров к настоящему революционному делу. Однако, повидимому, далеко не все в планах и предположениях Черняка пришлось по вкусу казанской молодежи. В частности ее смущало предлагаемое Черняком и его ближайшим помощником офицером Иваницким распространение подложного манифеста. Вместо него казанские студенты предлагали распространять напечатанную ими прокламацию к крестьянам с призывом восстать против властей и помещиков.

Эту прокламацию казанские студенты распространяли среди крестьян задолго до привлечения их Иваницким и Черняком к подготовке восстания. Для этой цели они предпринимали поездки по Казанской и смежным с нею (Вятской, Пермской) губерниям и намеревались даже пробраться в Сибирь.

Раньше, чем заговорщики успели приступить к подготовке замышленного ими восстания, предательство одного из привлеченных Черняком студентов, Глассона, дало в руки правительства нить к раскрытию заговора.

Такова вкратце история „казанского заговора" 1863 г., к делу о котором был привлечен и И. М. Красноперов, бывший членом того студенческого кружка, в сношения с которым вступили Черняк и Иваницкий.

Воспоминания Красноперова дают сравнительно мало материала для освещения истории самого заговора. Многого в этой истории и сам Красноперов не знал, о многом же он не решался говорить в своих воспоминаниях, появившихся в печати при царском режиме, когда некоторые из участников заговора были еще живы. Несмотря на это, воспоминания Красноперова представляют значительный интерес.

Их автор—во многих отношениях весьма типичный представитель той „разночинной" интеллигенции, которая с 60-х годов прошлого столетия начала играть видную роль в русской общественной жизни и в нашем революционном движении.

До 60-х годов наша интеллигенция по своему классовому составу была в огромной части своей интеллигенцией дворянской. Выходцы из других, „низших", классов общества были в ее среде исключением.

Быстрое развитие капитализма во второй четверти XIX века повлекло за собою коренные изменения в социальной жизни страны. Одним из них было изменение классового состава русской интеллигенции. На ряду с интеллигенцией дворянской появляется новая интеллигенция, ряды которой пополняются выходцами из среды мелкой буржуазии: из мещан, из духовного сословия, из крестьян. Эта новая интеллигенция, по происхождению своему стоявшая гораздо ближе к народу, чем интеллигенция дворянская, принесла с собою новые понятия и стремления. „Народолюбие" было одною из самых характерных черт разночинной интеллигенции.

В одном из своих показаний во время следствия И. М. Красноперов между прочим говорил: „Я жил и вырос между крестьянами; товарищами первых моих детских игр были всегда крестьянские мальчики, и я никогда не могу без слез смотреть на жалкую, несчастную жизнь крестьян, страдающих от деспотизма чиновниче-

ства. Бедный народ! Когда хоть сколько-нибудь облегчится твоя участь!"

Эти слова Красноперова дают нам ясное представление о тех побуждениях, под влиянием которых Красноперов и ему подобные примыкали к революционному движению и шли в ряды борцов за улучшение участи крестьянства.

Воспоминания Красноперова—весьма интересная и поучительная повесть о том, как сын сельского пономаря выбивался в ряды интеллигенции и какие препятствия приходилось ему встречать и преодолевать на этом пути.

От революционеров-шестидесятников до нас дошло очень мало мемуаров. Большинство из них умерло еще тогда, когда из цензурных и иных соображений не приходилось и думать об опубликовании каких бы то ни было воспоминаний о революционной работе. И. М. Красноперов—одно из исключений в рядах своих современников. Он оставил нам свои мемуары, хотя многое из своего прошлого ему и приходилось обходить в них молчанием.

За участие в „казанском заговоре" Красноперов был приговорен к каторжным работам на 8 лет, но по высочайшему повелению о прекращении всех неоконченных политических дел, имеющих отношение к польскому восстанию, помилован и отдан под надзор полиции на три года. В августе 1867 г. он был освобожден из-под ареста.

Впоследствии Красноперов был земским статистиком. Он работал в Самарском и Тверском земствах. Одновременно с этим он много писал по экономике, этнографии и истории и был сотрудником ряда прогрессивных изданий. Когда скончался Красноперов, неизвестно. Можем лишь сказать, что в 1915 году он был еще жив.

Воспоминания И. М. Красноперова первоначально печатались в журналах „Мир Божий", 1896 г. № 9 и 10, „Вестник Европы", 1905 г. № 12 и „Минувшие годы", 1908 г. № 12.

В настоящем издании мы даем сводный текст этих воспоминаний. Кроме опубликованной части воспоминаний Красноперова,

сохранилась и вторая их часть, до сих пор неопубликованная. В ней Красноперов описывает свою жизнь по выходе из тюрьмы и работу в земствах. Эта часть воспоминаний не связана непосредственно с первой частью.

Мы нашли возможным ограничиться воспроизведением одной первой части, представляющей для современного читателя особый интерес. В ней он находит описание далекой от него и мало ему известной жизни „умственного пролетария"—так в 60-е годы называли подобных Красноперову интеллигентов—выходцев из среды народа.

Б. П. Козьмин

И. М. КРАСНОПЕРОВ

ЗАПИСКИ РАЗНОЧИНЦА

Глава первая

НЕ УЧЕНЬЕ, А ЗУБРЕЖКА

...1856 год был последним в моей училищной жизни [1]. Я просидел четыре года в последнем, четвертом, классе и при всем том не мог питать надежды перейти в семинарию. К тому же как-раз в этом именно году получено было предписание от высшего начальства рассказывать уроки *своими* словами и писать сочинения по русскому языку, о чем мы прежде не имели и понятия. Чтение книг у нас совсем не было распространено не только между учениками, но даже и между учителями: никто не был повинен в этом и в городе. Училищная библиотека состояла исключительно из одних учебных руководств.

Все ученье наше ограничивалось долбней; даже из арифметики сначала заучивали наизусть правила, а потом делали по ним задачи механически. Бывало вызовут на середину класса ученика и велят читать урок наизусть от слова до слова, хотя бы даже из арифметики, а учитель смотрит в книгу и следит за тем, не пропустил ли ученик какое слово.

— Врешь! — остановит учитель: — «ибо» пропустил.

А тут вдруг в 1856 г. пришел из духовной консистории указ—велят ученикам рассказывать урок своими словами, а в этом отношении долбня нам ужасно навредила.

До сих пор у меня живо сохранилось в памяти одно место из руководства Устрялова [2] о самозванце, которое я в один дух прокатал учителю, но за которое тем не

менее учитель поставил мне дурной балл, потому что внезапно остановил меня на середине вызубренного урока и заставил рассказать заученное своими словами. Остановка сбила меня с толку, так что я не только своими словами рассказать, но даже и продолжать дальше не мог.

Я просил учителя подсказать мне дальше «хоть одно слово», чтобы я мог продолжать ч т е н и е зазубренного до конца, но он ни за что не соглашался, с сожалением повторяя:

— Не могу, голубчик, ей-богу, не могу; я не виноват, велено своими словами, и рассказывай. Что же делать: надо подчиниться.

Вот эта засевшая в моей памяти несчастная тирада из истории Устрялова: «В шестой год Борисова царствования в Литве явился человек ума быстрого, мечтательного, души беспредельно дерзкой, готовый на всякое отчаянное предприятие, именуя себя сыном Иоанна Грозного, спасшимся в Угличе от убийц, — то был беглый монах Чудова монастыря, Григорий Отрепьев, и едва ли не жид» [3].

Требование рассказывать уроки своими словами предъявили к нам и на экзаменах; но это ни к чему не повело: большинство учеников продолжало читать наизусть заученное, и экзаминаторы махнули на все рукой.

Учителя прямо об'явили мне, что меня не переведут по малоуспешности, а оставят еще на два года, следовательно, в одном 4-м классе мне пришлось бы просидеть 6 лет. Дня за три до экзаменов я написал об этом отцу, и тот приехал.

— Сын ваш плох. Мы принуждены его исключить или оставить в том же классе, — заявил смотритель отцу, когда тот пришел к нему.

— Тяжело мне воспитывать двух сыновей... Нынче еще одного сына должен учить... Семья у меня большая. Уж окажите божескую милость... переведите его.

— Нельзя, нельзя. Он лентяй и неспособен.

Отец заплакал и упал в ноги смотрителю, потом встал и, не сказав ни слова, положил на стол пятирублевую бумажку, затем опять бросился в ноги. Смотритель старался поднять отца с полу и успокоить.

— Мы увидим, отец: если сын ваш хоть что-нибудь будет на экзамене отвечать, то переведем.

Экзамен производил сам смотритель, он же ставил и баллы за ответы, а учителя сидели только в качестве зрителей, иногда спорщиков по возбужденным смотрителем богословским вопросам. 12 июля нас, четырехклассников, собрали в общий зал, куда пришли также смотритель и учителя для об'явления нам результатов экзамена.

Я оказался в числе переведенных в семинарию.

Смотритель стал около стола по середине залы, а учителя у стены по обеим сторонам в ряд. Каждый из нас, переведенных, подходил к отцу-смотрителю, кланялся ему в ноги и подходил под благословение; потом мы подходили к учителям, также кланялись в ноги, а те протягивали нам руку и трясли наши в знак того, что мы теперь уже некоторым образом становимся с учителями на равную ногу.

Глава вторая

В СЕМИНАРИЮ И ОБРАТНО

Однако в этом переводе моем в семинарию утешительного было мало: в семинарии должны были произойти новые проверочные экзамены. До семинарии в г. Вятке надо было ехать 416 верст.

Мы выехали из села после молебна 24 августа. По дороге отец велел заехать нам к его родному брату, благочинному в с. Рождественском, Нолинского уезда, с которым отец не видался более 25 лет.

Чтобы не затягивать и без того слишком долгой езды до г. Вятки, дьякон предпочел ехать прямо до города, не останавливаясь у дяди, к которому он думал заехать на обратном пути.

В Вятку мы приехали 30 августа, вечером, и остановились у столоначальника духовной консистории, Виноградова, родственника дьякона. Столоначальник, хотя и получал жалованья, по его словам, десять рублей в месяц, но каким-то образом ухитрялся жить довольно роскошно, даже ежедневно за обедом и ужином пил водку, а его жена — вино.

К инспектору семинарии я явился 31 августа, утром. Меня поместили в нижнем этаже среднего «архирейского» корпуса вместе с другими вновь прибывшими учениками. Кровать и белье были казенные, за пищу вычитали с наших отцов по шесть рублей с человека. Экзамены начались 2 сентября. Ровно через неделю нам об'явили о результате экзаменов.

Непринятых в семинарию оказалось 52 человека, в число которых попал и я. 10 или 11 сентября нам, непринятым в семинарию, инспектор выдал обратно билеты, с которыми мы приехали в семинарию, с надписью: «ученик Иван Красноперов возвращается в упомянутое в сем билете училище».

Странно сказать: дети богатых батюшек почти все были приняты в семинарию, из бедноты же попали разве только особенно «даровитые». Непринятые должны были снова тащиться назад за 300—400 верст, некоторые пошли пешком... Многие из них по неимению средств не пошли

уже назад в училище, а остались неучами на всю жизнь: одни заняли места дьячков и пономарей, другие спились с кругу...

Глава третья

ВМЕСТО ПОНОМАРСТВА—В УЧИЛИЩЕ

Еще живя в семинарии во время экзаменов, я получил от отца письмо, в котором он убеждал меня в случае несдачи экзаменов ехать назад домой, обещая определить меня на свое пономарское место, так как и средств не имеет учить так «долго нас двоих и сам становится уже стар». Но где же стар, когда ему всего был 51 год? Скорее надо было допустить первое.

Мои мечты никогда, впрочем, не шли дальше пономарского места, тем более, что меня обольстительно манила к себе перспектива быть пономарем в своем родном селе. Я обрадовался этому письму и собрался с дьяконом домой.

Из Вятки мы выехали 12 сентября, а 14 были уже в селе Рождественском у дяди.

На широкой равнине, окруженной с трех сторон хвойным лесом, а с четвертой — полукругом огибаемой ручейком, запруженным в конце села навозом, отчего ручеек превращался на протяжении всего села как бы в широкую реку, раскинулось громадное село. Как-раз по середине села, неподалеку от церкви, почти подле самого пруда стояли два довольно больших дома, из коих один был деревянный, одноэтажный со множеством окон, другой, против деревянного—каменный. Мимо обоих домов проходила проселочная дорога, за которой сейчас же шли огороды причта, примыкавшие концами к самому пруду.

Мы под'ехали к старинному каменному дому, местами обросшему по стенам мохом, местами по углам обвалившемуся.

Двор был большой, весь покрытый травой, что доказывало отсутствие по нему всякой езды. С лицевой стороны, перед окнами, в палисаднике росли четыре громадные березы с гнездами грачей. Направо, в углу двора, к самому дому была пристроена деревянная двухкоонная кухня, за нею из сеней вели низкие двери в особо пристроенную деревянную светелку, четыре окна которой с двух сторон выходили не то в сад, не то в огород.

На парадном низеньком деревянном крыльце нас встретила довольно пожилая и полная дама и молодая стройная, бледнолицая девушка, одетая в серое шерстяное платье.

Это были моя тетка и ее дочь, Евгения Ивановна. Мы все поднялись по крутой лестнице в верхний этаж дома. Из передней мы вошли в залу, где я помолился и сел на плетеный стул в угол. Ко мне подошли дядя, ужасно похожий на моего отца, только несколько пониже и худощавее его, с такой же жиденькой, белокурой бородкой, большим носом и большими, карими глазами, потом мальчик лет 10 и старший брат его, 17—18-летний юноша. Я встал со стула, расцеловался и опять сел, не говоря ни слова.

Я в первый раз видел окружающую меня обстановку: вдоль стен стоял ряд стульев, обитых ситцевой материей, в гостиной—фортепиано, на стенах картины и портреты в золоченных и черных деревянных рамах. Затем меня особенно тронула ласковость и приветливость окружающих лиц. Все меня называли «Ванюшкой», ухаживали за мной, гладили меня по голове; а Евгения Ивановна, подойдя ко мне, выразила даже сожаление, что я «такой

худенький». Во-первых, я ужасно неловко чувствовал себя от того, что все окружающие меня лица говорили между собою как-то не так, как говорил я: слова и выражения их были для меня непонятны... «идея»... «ощущение» и т. п.; про меня говорили, что я «забитый», «натура примитивная» и т. п.

И меня, и дьякона с участием начали расспрашивать: куда мы едем, зачем? Все ужасно пожалели меня, когда узнали, что я не выдержал экзамена, и еще более ужаснулись, узнав о моем намерении поступить на пономарское отцово место.

Евгения Ивановна подсела ко мне и стала со мной беседовать:

— Разве ты, Ванюша, хочешь быть пономарем?

— Что ж, и пойду, — говорю я. — Отец у меня пономарь.

— Тебе разве не хочется учиться?

— Как учиться, коли не приняли!

— Ну, может, и поправится дело. Ведь ты будешь несчастный... плакать, каяться потом станешь, что сделался пономарем.

Я молчал и, склонив голову, бессознательно дергал рукав сюртука.

— Отец твой ведь тоже несчастный... Учись лучше... подумай хорошенько.

— Я бы стал учиться, да как?

Вдруг я поднял голову и взглянул на Евгению Ивановну.

— Папа!.. Папа! — весело вскричала Евгения Ивановна. Она побежала к отцу. — Ванюша учиться хочет. Как сделать? Присоветуй.

— Вот и хорошо, — сказал ласково дядя, подходя ко мне. — Мы обдумаем, как сделать, после праздника.

Евгения Ивановна опять подошла ко мне.

— Учись, Ванюша, человеком будешь, — говорила она, гладя меня по голове, — а то шутка сказать — пономарем... Ведь это ужасно!

— Пиши отцу домой, что ты раздумал на его место, а учиться снова поедешь в училище в Вятку, — заключил дядя...

— Тебе ведь уроки старые будут... ты книги станешь читать, — тараторила Евгения Ивановна. — Вот посмотри, как ты изменишься... умница будешь, когда читать станешь. В семинарии учить уроки не понадобится. Сочинения нужно будет писать. Вот чтение-то и понадобится.

Теперь, припоминая все это, мне бы хотелось подольше удержать в своей памяти обаятельный образ этой девушки. Ту неутолимую жажду света, знания, которую она впервые влила в мою непросветленную, забитую душу, я сохранил свято и сейчас. Я знаю, что гибель и падение грозили мне; но она спасла мою «душу живу», спасла не столько холодным убеждением, сколько теплым человечным отношением к моему несчастному положению, которого я, впрочем, не сознавал тогда.

Решено было, что дьякон все данные ему отцом деньги отдаст мне; а я должен буду в израсходовании их дать отчет дяде и тетке.

Дьякон уехал домой 18 сентября, а я—в Вятку 19-го. Дядя сам написал мне прошение ректору семинарии, архимандриту Трифонова монастыря, Амвросию, о желании моем учиться в вятском духовном училище. Ректор семинарии был в то же время и главным начальником духовного училища.

В заключение дядя несколько раз напомнил мне, вероятно, для вящшего успеха, чтобы я передал поклон от

своего дяди, Ивана Гавриловича. Евгения Ивановна намекнула мне, что в Вятке есть книжный магазин, где я могу купить себе книг.

Весьма живо припоминаю, как я оделся в свой овчинный тулуп, крытый казинетом, как сел во дворе на телегу, на серый холщевый мешок с моим бельем. Из раскрытого окна кухни глядела Евгения Ивановна, одетая в серую шерстяную юбку и черную атласную кофточку, ласково улыбалась и кивала мне головой, когда я, уезжая, оглядывался назад.

Глава четвертая

ЧТЕНИЕ КНИГ В ЗАСОС

В Вятку я приехал 20 сентября, вечером, и остановился с ямщиком где-то на постоялом дворе. 21-го, утром, я отправился к ректору в монастырь. Ко мне вышел в переднюю среднего роста, бодрый, краснощекий старичок, к которому я подошел под благословение и подал прошение.

— Где ты учился? — кротко спросил ректор.

— В Елабужском духовном училище.

— Ну, ладно, ладно... примем.

— Вам дяденька кланяется, — поторопился я сказать.

— Какой дяденька? Мало ли на свете дяденек.

— Да дяденька, Иван Гаврилович.

— Не понимаю... Иван Гавриловичей много. Как его фамилия, откуда.

— Дяденька Иван Гаврилыч Красноперов, из села Рождественского.

— А! Знаю, знаю. Он дядя тебе, что ли?

— Дядя.

— Ну, как он живет? Здоров ли?

— Ничего, здоров.

— Ну, ладно, ладно, учись. Ступай сейчас в училище и скажи инспектору, что я велел принять тебя.

Училище помещалось в громадном каменном трех'-этажном здании, выкрашенном желтой краской, и стояло на правом высоком берегу реки Вятки, как-раз против Александро-Невского собора, выстроенного по проекту известного архитектора А. Л. Витберга [4].

На лицевой стороне здания, наверху под крышей я прочел слова, написанные золотыми буквами: «Блюдите да не презрите единого от малых сих». Впоследствии я убедился, что это евангельское изречение ни к чему не обязывало тех, которые блюли «малых сих», так как они преисправно пороли розгами малых сих и кормили негодной провизией.

Инспектор прямо послал меня «жить» в одну из комнат третьего этажа училища.

У меня крепко засела в голове мысль — итти в магазин за книгами. На другой же день после своего водворения в училище я отправился в книжный магазин Дубровина. Магазин занимал высокую большую комнату, сверху донизу уставленную полками с книгами; книг масса лежала и на прилавке. С первого раза, окинув взглядом все книжное пространство, я растерялся.

— Мне надо купить книг, — говорю я приказчику или самому хозяину, робко подходя к прилавку.

— Каких вам угодно?

— Вот... посмотрю...—И я совершенно зря, не разбирая, брал с прилавка по несколько книг и наклал целую гору.

— Сколько вот это все стоит?

— Позвольте, сосчитаем. — Дубровин пересмотрел все книги, щелкнул несколько раз на счетах и внятно проговорил:

— Четырнадцать рублей двадцать пять копеек.

Я отдал деньги. Мне завернули книги в бумагу и перевязали бечевкой. С радостью схватил я свою ношу и пошел быстро, точно полетел на крыльях. В памяти моей сохранились названия некоторых книг, остальные исчезли.

Я с нетерпением принялся развязывать книги. Разбираю: «Дрожащая скала», роман Эли Берте [5]; «Подвенечное платье», роман Александра Дюма [6]; «Тяжкие времена в Англии» Диккенса [7]; «Проступок господина Антуана» Жорж Занд [8]; «Военные рассказы» Льва Толстого [9]. Названия других книг не помню, не помню и их содержания, хотя живо припоминаю формат каждой из них и бумагу, на какой они были напечатаны. Из романа Диккенса у меня остались в памяти только две первые начальные строчки: «Факты и факты; нам нужны факты...» Из «Подвенечного платья», напечатанного на толстой серой бумаге, осталась в памяти одна фраза: «стул, на котором он сидел, был похож на букву Х».

В начале ноября все эти книги были уже мной прочитаны, можно сказать, проглочены, потому что я читал много, просиживая далеко за полночь, читал иногда и в классе во время урока. Читать стало опять нечего, денег не было, а между тем чтение книг стало уже моей потребностью.

У некоторых из моих товарищей оказались однако кое-какие книги, которыми они поделились со мной, а я в свою очередь поделился с ними своими. У товарищей можно было найти весьма не мудрящие книжонки: «Битва русских с кабардинцами»; «Гуак или рыцарская любовь» [10]; «Вечный жид» и «Парижские тайны» Евгения Сю; обе комедии Фонвизина [11] и два — три романа Поль де-Кока [12]. Все эти книги попеременно

передавались учениками из рук в руки и зачитывались, вследствие чего они были донельзя потрепаны.

В конце концов книг стало брать больше неоткуда. Я прослышал от своих товарищей, что в духовной семинарии есть профессор словесности Александр Александрович Красовский [13], сын ректора семинарии, у которого находится большая библиотека, что профессор этот дает книги для чтения семинаристам за плату по 1 рублю за полгода. Красовский жил в мужском Трифоновском монастыре вместе с отцом архимандритом этого монастыря. Итти за книгами к профессору семинарии, да еще сыну ректора, было страшно, тем более, что мне негде было достать рубля для уплаты за чтение книг. Совершенно наугад иду к инспектору училища, Павлу Васильевичу Кабардину.

— Позвольте мне, Павел Васильевич, в займы один рубль, — робко говорю я ему, без всякой однако уверенности в успехе.

— Тебе для чего?

— Хочу вот книги брать у Красовского, профессора семинарии. У меня нет денег, но я вам скоро отдам: тятенька скоро пришлет.

— Ты не врешь? Может, проешь на пряниках?

— Нет, ей-богу нет, хоть спросите после Александра Александровича.

Павел Васильевич вышел на минуту в другую комнату, вынес оттуда тщательно свернутую рублевую бумажку, и, вручая ее мне, добавил:

— Смотри же, не трать деньги по пустякам. Я спрошу Александра Александровича.

— Ей-богу...

Глава пятая

Я ИЩУ В СЕБЕ ПЕРЕМЕНЫ

Однажды, в зимнюю пору, в воскресенье, после обедни в 10 часов утра я направился в монастырь. Мне пришлось подняться кверху во второй этаж по парадной деревянной лестнице, устланной ковром. Я позвонил, и мне отворил дверь послушник в черном подряснике.

— Что тебе надо? — спросил он меня.

— Мне нужно Александра Александровича. Книги хочу читать, так за этим.

— Они пьют чай, погодите, я доложу.

Послушник ушел и минуты через две вернулся назад.

— Пожалуйте к ним в кабинет.

Ни жив, ни мертв пошел я за послушником через большую залу, увешанную по стенам портретами архиереев в клобуках и митрах, и робко вошел в угловую большую комнату в два окна.

Я остановился у самых дверей.

Из-за стола тотчас же встал и подошел ко мне еще молодой, лет под 30, человек высокого роста, одетый не то в подрясник, не то в халат из темно-серой фланели с узкими рукавами, застегнутыми у пясти рук двумя пуговицами. На голове были черные остриженные волосы, зачесанные косым пробором; подбородок гладко выбрит. Большие карие добрые глаза смотрели на вас смело, прямо. Лицо в общем было довольно красиво и привлекательно; но стан его нельзя было назвать стройным; сзади он заметно был сгорблен, «от сидячей жизни», как мне потом говорили.

— Как ваша фамилия? — спросил он меня мягким, ласковым голосом.

— Такой-то.

— Вы хотите книги читать?

— Да.

— Присядьте, пожалуйста.

Я сел не смело, растерянно на кончик плетеного стула. Меня приятно обрадовало его обращение ко мне на вы. Ни один учитель в училище никогда не называл нас вы, а обыкновенно кличками: ты, болван, дурак и т. п.

— Чаю не хотите ли? — спросил меня опять Александр Александрович, усаживаясь в жесткое кресло подле стола, и взял с подноса стакан чаю.

Я крякнул и сказал:

— Ничего, можно...

Он позвонил.

— Принесите чаю, — сказал он пришедшему послушнику.

На принесенном подносике стояли чашка чаю, сливочник со сливками, сахарница с сахаром и лежало штук 10 сухарей. Я взял чашку и кусок сахару, а сухарей брать не хотел.

— Берите, берите сухарей, — обратился он ко мне, — и сливок налейте.

Он встал, положил на столик подле меня несколько сухарей и налил в чашку сливок.

Пока я проклажался с чаем, Александр Александрович расспрашивал меня.

— Вы читали что-нибудь прежде?

— Читал. Я читал рòманы.

— Что именно?

Александр Александрович слегка улыбнулся и поправил меня:

— Не надо говорить рòманы, а романы. Какие же вы романы читали?

— А всякие... «Вечный жид» Евгения Сю, «Дрожащая скала» Эли Берте, «Подвенечное платье» Дюма, «Гуак или рыцарская любовь», Фонвизина комедию, «Битва русских с кабардинцами»...

— Однако много же вы прочли всякой дряни; ну, да это ничего, вреда не будет. Дело поправимое.

В это время я выпил чашку чаю, опрокинул ее вверх донышком и положил на него оставшийся кусок сахару. Александр Александрович взглянул и улыбнулся.

— Благодарю покорно, — сказал я, ставя чашку на поднос и немножко привстав со стула.

— Кушайте, кушайте еще.

— Пожалуй...

Мне опять принесли чашку чаю, при чем я взял уже новый кусок сахару, так как прежнего нигде не оказалось. Выпив вторую чашку, я опять опрокинул ее вверх донышком и опять положил на него огрызок сахару.

— Что вы хотите читать?

В училище и в городе было тогда много разговора о том, что здесь (в Вятке) недавно жил Салтыков (Щедрин), который написал очень интересную книгу «Губернские очерки»; там он представил в смешном виде все местные власти, даже и самого губернатора [14]. Поэтому прочитать эту книгу было очень интересно.

— Хотелось бы мне прочесть «Губернские очерки» Щедрина, — говорю я несмело Александру Александровичу.

— Да, книга хорошая, но только, знаете, я бы вам не советовал сейчас читать ее: не поймете всей соли, к тому же там не мало французских выражений, вам непонятных. Время не ушло, успеете еще прочитать, а теперь возьмите что-нибудь попроще.

— Так вот бы Гоголя... «Мертвые души» [15].

— Тоже погодите, потому что сейчас впечатление утратится. Впоследствии прочтете Гоголя с большим увлечением, а теперь будет для вас только смешно... Я вам лучше дам другую книгу.

Александр Александрович ушел в другую комнату и минут через пять вернулся с тоненькой переплетенной книгой.

— Вот эту прочтите. Только когда прочтете всю, то придите и расскажите мне... ну, хоть о том, что вам особенно понравилось.

Я раскрыл и прочел: «Семейная хроника. С. Аксакова» [16]. Я встал и направился было к двери, чтобы уйти, но вспомнил, что мне надо было еще отдать рубль.

— Вот я рубль принес вам за чтение, — сказал я, протягивая Александру Александровичу развернутую засаленную ассигнацию.

— Нет, вы лучше оставьте ее у себя. Вон какой вы худой и тело дряблое у вас.

Он взял мою руку повыше кисти двумя пальцами и помял немножко тело.

— Тело такое дряблое, верно от плохого питания... Вы лучше на этот рубль булок покупайте, получше ешьте. Вас, чай, там плохо кормят? Дают ли вам булок, мяса?

— Булок по праздникам, а мяса каждый день... понемножку.

Я был ужасно тронут и готов был разрыдаться, но удержался; на глазах только на мгновение навернулись слезы, которые я однако сейчас же скрыл.

Я побежал в училище точно на крыльях. На душе у меня было так хорошо от этой доброты и ласки. Конечно, через несколько дней я уже бежал с книгой в монастырь к Александру Александровичу. Отдавая ее, я заметил, что книга написана «легко, хорошим слогом», и передал

ее содержание. После этого я прочел и «Детские годы Багрова внука»[17], а потом Александр Александрович давал мне небольшие томики «Для легкого чтения», в которых помещались мелкие повести и рассказы наших лучших писателей: Григоровича («Антон Горемыка»)[18], Тургенева[19], Потехина[20], Дружинина («Полинька Сакс»)[21] и др. Этих томиков я прочел, кажется, девять.

Мне казалось однако странным одно обстоятельство, которое приводило меня в некоторое недоумение, и это недоумение с каждым месяцем, с каждой неделей росло все более и более. Евгения Ивановна говорила как-то, — подумал я про себя, — что «когда я буду читать книги, то почувствую в себе перемену, на вещи будто бы стану смотреть другими глазами, разумнее», а вот сколько времени уже я читаю, да еще как читаю, и я все-таки никакой перемены в себе не замечаю. Какая же это перемена?

Я все такой же, какой и был?

Видно мало еще читал...

Помнится, учитель русского языка, он же и регент архиерейских певчих, горький пьяница, назначенный к нам учителем только потому, что тогдашний вятский архиерей, Елпидифор, думал этим назначением отвлечь его несколько от усиленного поклонения Бахусу, — этот учитель дал нам на дом сочинение: «Описание города Вятки». Я исписал целый лист и подал. Через неделю учитель принес в класс наши тетради и, выдавая их, заметил, что «лучше всех сочинений написано Красноперовым». На верху тетради на полях было написано рукой учителя: «Вообще есть мысль».

Я так и подскочил от радости, оттого, что сделал открытие. «Так вот какая, значит, перемена-то! Ведь вон хитрая какая Евгения Ивановна! Это она знала, потому что сама, верно, на себе когда-нибудь испытала эту перемену»...

Глава шестая

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

На все зимние каникулы я, разумеется, ездил к дяде в село Рождественское. Святками было особенно весело. Евгения Ивановна даже плясала с нами, пела и играла на фортепиано, по вечерам иногда читали вслух взятые мной у Красовского книги. Но на масленой Евгения Ивановна как-будто все недомогала и на улицу совсем не выходила. Приезд мой в Рождественское на пасху был уже неприятен и дяде и тетке.

— Зачем опять приехал? — с упреком обратилась ко мне тетка, когда увидала меня утром в кухне.

Я не смел итти прямо кверху, а сел в кухне и ждал, пока все встанут.

— Мне больно хотелось повидаться с вами со всеми,— оправдываюсь я перед теткой.

— Со своими-то нам горя много, а тут еще ты...

Она держала в руках белую ночную рубашку старшего сына Николая и, показывая мне, говорила:

— Ведь вон вся в поту — мокрая хоть выжми. Ночью почти не спал. Ну, иди кверху, коли приехал. Все встали. Еня, небось, рада будет».

Я поднялся кверху и прошел из передней прямо в залу. Тетка же вошла в гостиную, где за ширмами лежала на матраце, положенном на две скамьи, Евгения Ивановна.

— Ведь Ванька-то опять приехал, — громко сказала тетка, обращаясь к Евгении Ивановне.

— Вот это прекрасно, вот прекрасно, Ванюшка! — послышался из-за ширмы слабый голос Евгении Ивановны.

Я смолчал и только боялся, чтобы меня не прогнали назад в Вятку.

У Николая Иваныча развивалась чахотка. Он ходил всегда в шубе и валеных сапогах. Лицо его осунулось, побледнело, голос сделался слабым, часто кашлял. Евгения Ивановна, повидимому, начинала страдать тем же недугом. Она целый день ходила в теплом ваточном пальто, крытом светло-лиловым люстрином. Изредка покашливала, но выглядела бодрее своего брата.

Ночью на пасху мы все не спали и разместились в кабинете у дяди; но перед утреней задремали, а Николай Иваныч даже заснул. После утрени, когда уже немного рассвело, пришел дядя с иконами, свечами служить молебен.

Я пел вместе с дьячком. Чрезвычайно живо припоминаю Евгению Ивановну. В своем обычном ваточном пальто она стояла впереди по левую сторону залы, у стульев и, рыдая, усердно молилась на коленях в тот самый момент, как мы запели «Христос воскресе». К полудню она даже сняла с себя пальто и до самого вечера ходила в одном шерстяном голубом платье. Должно быть, она предчувствовала, что дни ее жизни сочтены. У ней были длинные-предлинные темно-русые волосы. Как-то раз пасхой она отрезала ножницами толстую прядь своих волос и повесила за ширмами, где стояла ее кровать. Я попросил ее отделить маленькую прядь волос на память, и она дала...

Однажды, когда я строил планы о том, как я приеду на летние каникулы и мы все будем гулять по полям и лесам, собирать цветы, ягоды, она грустно покачала головой. В шутку разложила на столе карты.

— Хочешь, Ванюшка, погадаю?

— Погадайте.

— Вот ты приедешь в Вятку... получишь от нас письмо и станешь плакать.

— Зачем? — тревожно спросил я.

— Потому что я умру, — спокойно и улыбаясь сказала она... — Не пожалей цветов положить мне в гроб.

И у ней самой навернулись слезы, и я возьми да тут же и заплачь.

— Ведь я нарочно, нарочно, что ты? — успокаивала она меня и сейчас же переменила разговор.

— Если ты будешь хорошим человеком, то, конечно, не забудешь меня.

Я не понял, что значит быть хорошим человеком, и потому спросил:

— А какие же нехорошие люди бывают?

— Мало ли какие!—Ну, неучи, бесполезные... никому добра не делают...

— Я не буду таким...

— Хорошо, если так...

Она имела право так говорить, потому что сама была добра ко всем, со всеми ласкова.

Последнюю ночь перед от'ездом в училище я лег спать на полу у стены в зале перед печкой. С вечера меня долго душили слезы: мне не хотелось ехать, я что-то предчувствовал недоброе... Веяние смерти уже носилось в доме дяди.

Дороги были не проездны, но реки и речки еще не прошли, снег еще не весь сошел с полей: на возвышенных местах виднелись большие проталины, а на низменных он лежал еще большими массами, и по утрам «по на́сту» можно было смело итти, не проваливаясь.

Грачи стаями и с криком носились около старых четырех берез, росших перед самыми окнами дядиного дома. В двух скворешницах, из коих одна торчала на высоком шесте тут же возле берез, а другая в огороде против дома,

за дорогой, поселились уже скворцы и деятельно работали над приведением своих гнезд в надлежащий порядок.

Зелень нигде еще не проглядывала, но в воздухе чуялось уже близкое наступление настоящей весны.

Мы (я и двое семинаристов) решили итти до Вятки пешком и, если возможно, нанять лошадей где-нибудь по дороге. Итти надо было далеко — 90 верст.

Тетка с утра велела напечь мне сдобных булок, наварить яиц и изжарить кусок мяса, и все уложила в небольшой белый мешочек, который Евгения Ивановна сама перевязала бечевкой так, что сделала большую петлю, через которую легко могла пролезть рука. Она даже показала мне, как лучше нести этот мешок...

Из Рождественского я долго не получал никакого известия, что меня сильно тревожило. Однажды в воскресенье, утром, в половине мая месяца 1857 г. ко мне в номер пришел крестьянин и сообщил, что сюда приехали «матушка с Евгенией Ивановной и просят меня притти к ним». Крестьянин сообщил мне при этом, что Николай Иваныч умер недавно. У меня екнуло сердце. Я мигом сделся и побежал.

Дом, где остановилась тетка, был маленький двух'этажный, полукаменный. Они поместились в верхнем этаже, состоявшем из маленькой передней, кухни и двух комнаток.

Из передней я вошел прямо в залу, где увидел следующую картину: у стены направо от входа стояла деревянная кровать, на которой сидела, обложенная подушками и одетая в голубое шерстяное платье Евгения Ивановна — бледная, худая. Лицо ее можно бы было счесть совершенно безжизненным, мертвым, если бы не большие прекрасные глаза, которые светились каким-то особенным блеском.

Я поцеловался с ней и сел на стуле подле ее кровати. Она быстро таяла.

Ежедневно приезжавший доктор Розов сообщил ее матери, что дочь едва ли протянет до июня месяца.

Всякий раз, подходя к ее квартире, я с мучительным чувством страха издали всматривался в окна дома, боясь увидеть в них горящие свечи в подсвечниках. Это мучительное состояние длилось целых две недели. Мне не шли на ум ни уроки, ни чтение.

29 мая, рано утром, еще почти до-свету, я вскочил с постели, кое-как оделся и побежал к роковому дому.

В последнее время я всегда вставал рано, бегал туда и к урокам возвращался в училище. В этот день я пришел туда еще ранее, часа в три. Евгения Ивановна не спала.

В комнате чуялся тот особенный специфический запах, какой обыкновенно чувствуется вблизи чахоточных. Солнышко еще не всходило, но на безоблачном небе алела уже заря.

Я сел на стул около маленького столика, стоявшего в двух шагах от кровати Евгении Ивановны, и бессознательно выводил что-то карандашом по бумаге, или глядел в раскрытую передо мной книгу.

Евгения Ивановна вдруг раскрыла свои большие глаза и, подозвав меня к себе, слабым голосом спросила:

— Скоро, Ванюшка, будет солнышко?

— Скоро, скоро, вот через четверть часа.

— Ах, если бы скорее... Мне хотелось бы посмотреть на него.

Сам не знаю зачем, я велел прислуге-девушке поставить скорее самовар. Его принесли на тот маленький столик, около которого я сидел. Самовар был чистый, блестящий.

— Вот и солнышко, — говорю я Евгении Ивановне.

Она вскинула своими исхудалыми до-нельзя руками и, улыбаясь, вскричала:

— Ах, как оно хорошо, как прекрасно!

Я заварил чай и стал пить бессознательно, нехотя; предложил Евгении Ивановне, она выпила пол-чашки и отказалась. Она была неспокойна. Все спрашивала, скоро ли будет солнышко, где маменька, постоянно бредила... Пришла ее мать и стала у ее изголовья.

Вдруг Евгения Ивановна подняла обе руки кверху, закрыла ими свое лицо и слабым, точно плачущим голосом проговорила:

— Маменька... Маменька... я умираю... умираю...

— Успокойся, Еня; ты бредишь, — и отвела ее руки от лица из боязни, как бы она не исцарапала лица; но та, глубоко вздохнув два—три раза, испустила дух.

Улыбка так и застыла на ее лице...

Я положил ей в гроб зелени и полевых цветов, цветов много наклали в гроб какие-то неизвестные барышни... Одни барышни вынесли ее гроб из церкви — из женского монастыря. На могилу ей поставили каменный памятник, изображающий срубленное березовое дерево, корни которого вошли в землю...

Глава седьмая

В ПОИСКАХ ПОНОМАРЯ И ЖЕНИХА

1857 год был вообще для меня несчастным годом. 30 октября я получил из дома письмо с черной сургучной печатью. Мать извещала меня о смерти отца и умоляла для поддержания ее и моих трех сестер проситься у архиерея на отцовское место или же искать жениха для одной

2899—3

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ ПРОФЕССУРЫ

из сестер с тем, чтобы он определился в Икское Устье на вакантное пономарское место. Для этой последней цели зимой 1858 года в Вятку приехала моя мать-старуха с моей сестрой Анной. Прежде всего мать попыталась убедить меня поступить на отцовское место и потому повела меня к архиерею Елпидифору.

— Ты зачем пришла? — обратился владыка к матери.

— Сынка вот своего хочу на отцово место просить.— И мать поклонилась владыке в ноги.

— А ты хочешь итти в пономари?—обратился ко мне владыка.

Я стоял, опустив голову, и в волнении поправлял полу своего сюртука, потом поднял голову и робко сказал:

— Я учиться хочу, ваше преосвященство.

— Да как же ты не хочешь? Мало ли что не хочешь?! Ведь я—твоя мать, ты—мой сын и должòн слушаться меня,—доказывала мне горько плачущая мать. — Как же, ваше преосвященство, разве сын не должòн слушаться матери?

— Силой я не могу заставить его сделаться пономарем, — кротко заметил владыка.

— Ведь он мой сын... Хоть бы он был подле меня... я бы глядела на него... Ведь и в законе-то нет, чтобы сын не слушался своей матери.

— Родители должны научить, воспитать своих детей так, чтобы они, пришедши в возраст, могли не клянуть их, а благословлять... И я был сын дьячка, и у меня мать тоже плакалась, когда я учился: «хоть бы я, говорит, на печке сидела с ним да глядела бы на него». А вот я с божьей помощью выучился и удостоился такого высокого сана. Зачем же ты мешаешь своему сыну учиться? Он у тебя, может, человеком будет... Священником, а то и выше. Ведь судьбы божии неисповедимы. Так ты гово-

ришь, не хочешь итти в пономари? — обратился опять ко мне владыка.

— Учиться бы я хотел.

— Ну и хорошо, учись, — заключил владыка, встал и благословил нас обоих.

Таким образом благодаря умному архиерею я еще раз был спасен от ожидавшей меня участи пономаря.

Не лучшую участь постигла попытка матери найти жениха для моей сестры, но это уже не по моей вине. Правда, жених этот скоро нашелся в лице толстого, высокого, краснощекого с кудрявыми волосами архиерейского послушника, который несколько раз приходил на квартиру матери смотреть невесту и в конце концов из'явил желание поступить на отцово место.

Я пошел однажды к архиерею вместе с женихом (по фамилии Мухачевым). Жених, подав архиерею прошение, громким басом и скороговоркой проговорил: «благословите, ваше преосвященство, на место умершего пономаря села Иксского Устья, Марка Красноперова; намерен вступить с его дочерью Анной в законный брак». Очевидно, все это было заучено.

Владыка быстро пробежал прошение и затем, бросив суровый взгляд на жениха, свернул бумагу и с такой силой бросил на пол, что она полетела по полу вдоль всей залы вплоть до самой стены.

— Сидел бы ты, пьяница, на своем месте. Ты и места-то послушника не стоишь, а тут еще лезешь в церковнослужители. Убирайся!..

Очевидно, владыка отлично знал своего послушника, который страшно надоел ему.

Мы ушли, и мать больше уже не искала моей сестре женихов. Года два спустя она вышла замуж за рабочего на химическом заводе елабужского купца Ушкова.

Глава восьмая

СОМНЕНИЯ МУЧИЛИ МЕНЯ

По обыкновению я пробыл в вятском училище два года, так что в одном четвертом классе мне пришлось просидеть шесть лет. Конечно, первые четыре года прошли для моего умственного развития совершенно непроизводительно, как непроизводительно промелькнули годы моего пребывания и в первых трех классах.

Все задолбленное и выстраданное мною в первые 8 лет училищной жизни не коснулось моего ума, оно только загромоздило мою память разной бессмысленной дребеденью, освободиться от которой меня научила Евгения Ивановна и окончательно освободил Александр Александрович Красовский.

И все-таки я благодарен моим учителям за то, что они не вытолкнули меня из училища, и тем не сделали меня несчастным на всю жизнь. В то достопамятное время педагоги делили учеников на две категории: на прилежных и ленивых; они не знали эпитета «неспособный», придуманного нынешними педагогами, благодаря чему массу учеников выталкивают из средних учебных заведений. Бывало ученик сидит в одном и том же классе 5—6 лет, в той надежде, что он хоть чему-нибудь да научится, сидя на одном месте бесконечное число лет. Если же и доживая до произрастания обильной растительности на своей физиономии ученик не успевал передвинуться из училища в семинарию, то его исключали не за неспособность или леность, а за «великовозрастие», — термин, указывающий на предел, за которым следовало уже думать не об учении, а о женитьбе. Встретить в четвертом классе училища 20—22-летних учеников было не редкость.

Мне было 18 лет, когда я из елабужского училища перешел в вятское, следовательно, в семинарию я мог перейти 20 лет. Но мой ум был еще в детском состоянии, и я только теперь начал выходить из состояния непосредственного бытия.

С 1858 года Александр Александрович Красовский стал давать мне для чтения журналы: «Русский вестник», «Современник» и «Библиотеку для чтения» [22] и более серьезные книги: Грановского, [23] Прескотта, [24] Маколея [25] и другие.

Об учености и либерализме Александра Александровича ходили между нашими учителями различные толки. Говорили, что Александр Александрович обратился в католичество, что он и в бога будто бы верует не по-православному, что по этому поводу у него был даже крупный разговор с отцом его, архимандритом, который-де убеждал его бросить чтение светских книг и тем предохранить себя от заразы неверия.

— Вот и ты такой же будешь, если станешь читать,— пугали меня товарищи.

— Нет, я ни за что не буду таким, — уверял я.

— Будешь! Красовский сам еретик и тебя обратит к себе... католиком будешь.

— Разве в Вятке видели вы католиков, какие они?

— Видели... В папу римского верят... и ты поверишь...

Я стал не на шутку задумываться над тем, что мне говорили. Вероятно под влиянием этих мучительных дум мне стали видеться по ночам страшные сны: я нахожусь будто в каком-то громадном здании с перекрещенными у потолка во все стороны толстыми бревнами, по которым я с трудом перебираюсь, при чем сзади стараются стащить и сбросить меня дьяволы — черные, мохнатые, длиннохвостые, но человекообразные существа; меня уже

стаскивают за ноги с одного бревна, но в бессилии, как утопающий, я успеваю уцепиться за другое бревно и удерживаюсь. От этого мучительного кошмара я просыпаюсь весь в поту и тяжело дыша. В другой раз мне виделся сам Христос, гневный и грозный, укоряющий меня за вероотступничество.

По ночам я нередко вставал с постели и горячо молился, плакал и молился о том, чтобы бог просветил меня, указал правый путь.

Я не понимал, в чем собственно заключается вероотступничество, в котором обвиняли Александра Александровича и отчасти меня; в душе мне хотелось только стать на сторону Александра Александровича и оправдать его от взводимых обвинений.

В чтении книг, в знании я стал уже видеть источник внутреннего счастия; свет знания, озаривший мою темную голову, влил во все мое существо какую-то живительную струю, которая толкала меня вперед все к более яркому, животворящему свету знания...

Сомнения мучили меня.

Измученный, я пошел к Александру Александровичу. Он, повидимому, заметил по моему расстроенному виду, что со мной что-то неладное, усадил меня на стул и стал расспрашивать.

— Что с вами? Уж не вышла ли какая неприятность с учителем или инспектором?

— Говорят, что книги светские грех читать, а надо читать одни духовные... Будто вы из-за этого в католическую веру обратились... Эдак, пожалуй, и я обращусь в нее.

Александр Александрович расхохотался.

— Глупенький вы еще, — ласково сказал он мне, гладя по голове. — Зачем верить всякому вздору? Это говорят изуверы и ханжи невежественные. От чтения книг

люди не портятся, а напротив, делаются лучше, честными. Знание делает людей полезными... Не верьте, что вам говорят насчет светских книг... Читайте, приобретайте знания. Сами будете хорошим человеком...

С этого времени меня уже не мучили больше страшные, ночные видения...

Пришло опять время экзаменов и перехода в семинарию. В училище экзамены шли, прошли благополучно, и я оказался переведенным в числе первых учеников; но надо было еще сдать экзамен по всем предметам в семинарии.

— Завтра, смотрите, у вас экзамены по-русскому языку, — обратился ко мне Александр Александрович, когда я пришел к нему с книгой. — Я вам дам сочинение, которое вы непременно напишите в классе во время экзамена, пока я буду там. Если напишете хорошо, то постараюсь принять вас в свое отделение, если плохо — то, все равно, поступайте в то, в какое назначат... Мне приятнее заниматься с хорошими учениками, развитыми.

Он удалился в другую комнату и чрез несколько минут вернулся с маленьким лоскутком бумаги.

— Вот вам тема для сочинения. Пишите завтра в классе, не стесняйтесь... Вы ведь много пережили...

Тема была следующая: «Какое впечатление производит на ученика суровый и неприступно-важный вид начальника школы».

Тема показалась мне ужасно трудной. Я показал ее товарищам. Те покачали головой и сказали:

— Что? Вот теперь и выпутывайся, как знаешь, коли познакомился с Красовским.

«Напишу все, что было со мной,— думал я про себя:— как секли, как учился... все были грубы, как я из училища убегал... Красовский правду велел писать».

В классе сидели и ходили и другие учителя, кроме Красовского.

Не помню, та ли тема была дана и всему классу или только мне одному.

Через три часа я кончил сочинение, написанное на 2½ листах, и положил его в парту. Красовский, должно быть, видел это и подошел ко мне.

— Что, кончили?

— Кончил, — говорю я.

— Позвольте посмотреть.

Не помню, что именно я написал, но я зорко следил за участью своей тетради. Красовский сначала прочитал сам тетрадь, стоя у окна, потом подошел к другим двум товарищам учителям и шопотом стал читать некоторые места сочинения.

Я отлично видел, как они хохотали, когда им читал сочинение Красовский, но меня это не радовало. «Верно уж больно плохо, коли хохочут», — с тревогой думал я.

Красовский подошел ко мне и, улыбаясь, сказал:

— Хорошо написано, я вас приму в свое отделение.

После переклички учеников я оказался принятым в семинарию 14-м учеником.

Глава девятая

БУРСАЦКИЕ НРАВЫ И УЧЕНЬЕ

Во втором отделении словесности числилось 62 ученика. Меня, как казеннокоштного [26], поместили с 20 другими учениками в нижнем этаже правого углового каменного корпуса. В переднем углу под образами поселился «старший» из богословов для надзора за нашим поведением.

Каждому из нас выдавали по два длиннополых сюртука: казинетовый и суконный, по паре сапог, железную кровать, дешевое байковое одеяло, мочальный матрац, такую же подушку и две толстых холщевых простыни.

На закоптелых когда-то выбеленных стенах виднелась масса дырочек, происшедших от вбивания в стену и вытаскивания гвоздей, в которых гнездились целые колонии жирных клопов. Кругом этих дырочек по всем четырем стенам виднелись кружочки, обведенные мылом для того, чтобы клопы не могли перелезть через эти кружочки и потому лишены были возможности кусать нас. Однако по ночам они как-то ухитрялись перелезть через эти перегородки, кусали нас здорово, а к утру опять возвращались в свои колонии.

Обедали мы в общей столовой. В 8 часов утра по звонку шли мы в столовую, где выдавали нам по ломтю черного хлеба, в два часа обедали, в 8 часов вечера ужинали. И к обеду, и к ужину каждый нес с собою в кармане свою деревянную ложку. Отобедав, ложки мы вытирали о грязную скатерть или о внутреннюю сторону полы своего сюртука и засовывали их опять в карман.

Посреди столовой у одной из колонн стояло что-то в роде аналоя, на котором лежала старая, истрепанная, в кожаном переплете четьи-минея [27]. Во время обеда и ужина один из богословов читал житие какого-либо святого, чаще всего «Исаакия, затворника Печерского». Чтение этого жития всегда возбуждало в нас веселое настроение, так как жизнь Исаакия полна разных, совсем особенных приключений. Из желания совратить Исаакия с пути благочестия однажды ворвались к нему в келью дьяволы с разными музыкальными инструментами, в то время как подвижник стоял на коленях на молитве. Один из дьяволов громко возглашает: «возьмите сопели,

тимпаны и гусли и ударяйте, Исаакий же наш да пляшет». Исаакий, будто бы, и пошел плясать...

В первые два года моего пребывания в семинарии (1859—1860) инспектор частенько-таки сек словесников за пьянство розгами; но с 1861 года телесное наказание совсем уже вышло из употребления.

Впрочем, пьянство как-будто нарочно поощрялось самим начальством. В 100 саженях от семинарии по дороге в город стоял ветхий деревянный домик, в котором жил сторож. В престольный семинарский праздник Иоанна Богослова (26 сентября) богословам позволялось варить пиво. Пивоварение богословами и возлагалось именно на этого сторожа. Вместе с пивом семинаристы пили, конечно, и водку, почему инспектор в этот день никогда не ходил по номерам.

Пьянствовали семинаристы жестоко, «до положения риз». Чтобы протрезвить упившихся, прибегали к самым радикальным мерам: пьяного вытаскивали на середину комнаты и клали вниз лицом. Два здоровенных семинариста, засучив рукава рубашки, становились у пьяного с поленьями в руках, один у правой ноги, другой—у левой, и мерно, в такт, били ими по подошвам, третий время от времени поливал его из ведра холодной водой, что все вместе продолжалось до тех пор, пока бесчувственно-пьяный не приходил в себя и не начинал икать и издавать какие-нибудь звуки. Бывало, что и такие меры ни к чему не приводили.

Помнится, однажды умер с перепою один из учеников, Попов, родной брат профессора семинарии, живший вместе с ним в семинарии на казенной квартире. Ни поленья, ни отливание водой — ничто не помогло. Говорили, что этот 17-летний мальчик накануне вечером выпил целую бутылку рому и в ту же ночь умер.

Ругань непечатной бранью и вообще грубость нравов поддерживало в нас и само начальство. Инспектор-протоиерей в классе называл нас самыми поносными именами: «чушью», «гороховицей», «ослами», болванами» и т. п.

Некоторые из профессоров нередко являлись в класс пьяными, как, например, профессор математики Мышкин, зять инспектора, поэтому неудивительно, что математики никто из нас не знал.

Преподавание велось самым рутинным образом, по старым учебникам. иногда по запискам, составленным бог весть когда.

Инспектор преподавал священное писание по своим собственным запискам, которые мы по необходимости задалбливали. Говорю «по необходимости», потому что не было возможности передать своими словами следующую, оставшуюся в моей памяти тираду о книге «Песнь песней» [28]. «Книга «Песнь песней» так называется потому, что она самые сокровенные, святых святейшие божии к нам любви таинства описует»...

Как преподаватель, инспектор был весьма бесталанный. У меня остался в памяти один из его уроков. Инспектор вызывал на середину класса ученика, читал ему какой-нибудь стих из библии и спрашивал:

— Ну, скажи, Красноперов: «Делатель пьяный не наследует царствия божия», какая тут сентенция (всегда говорил сентенцыя) — нравственная или догматическая?

— Нравственная,— скажешь ему наобум.

— Хорошо. Ну, а вот здесь: «На море кони твоя избранныя», здесь какая?—И опять говоришь наобум. Так и тянулся весь урок.

В богословском классе в то время преподавали медицину, что составляло обязанность городского акушера, которому платили за это сто рублей в год.

Акушер был человек крайне ограниченный. О какой бы болезни он ни говорил, хотя бы о вереде на руке или на ноге, он сначала подробно излагал самый процесс образования нарыва, потом вдруг заключал словами: «и наконец наступает самая смерть».

Новички сначала приходили было в уныние от его заключений о вередах и чирьях, так как в бурсе многие из нас при нашей неопрятности нередко страдали от этих вередов, но потом мы только смеялись над акушером, зная очень хорошо, что это один из словесных фортелей невежественного человека.

Ботанику и физику преподавал священник. Преподаватель велит бывало ученикам принести на урок разных растений из окружающего семинарию леса.

И вот мы массами нанесем всевозможных растений: крапиву, репейник, полынь, куриную слепоту и т. п. и все это кучею навалим на стол перед учителем. Учитель всякое почти растение пробовал зачем-то на язык и ругался.

— И крапивы-то, дураки, не могут отличить! — говорил он. — Репейник... полынь... зачем вы принесли мне эту дрянь?

Встает один из нас и об'ясняет:

— Мы думали, что вы и о репейнике, и о полыни что-нибудь нам скажете.

— А вот ничего и не скажу дуракам. — заключал отец, все более и более раздражаясь.

Словесность преподавал в первом отделении Рождественский, вскоре впрочем переведенный преподавателем в мужскую гимназию, в Тамбов; во втором отделении — Александр Александрович Красовский. Оба были люди молодые, прекрасно знающие свой предмет; но насколько первый отличался некоторою грубостью в обращении

с учениками и некоторым суховатым педантизмом в преподавании, настолько последний служил олицетворением мягкости и доброты; его преподавание отличалось живостью и одушевлением.

Если бы я мог охарактеризовать в кратких чертах эту светлую личность, то я бы сказал, что это был чистейший и благороднейший представитель молодого поколения 60-х годов.

Что многие из нас не заглохли в семинарской среде и до сих пор сохранили в себе лучшие заветы 60-х годов, мы обязаны исключительно Александру Александровичу. Я бы желал во всех подробностях воскресить в своей памяти твои дорогие черты, мой дорогой учитель...

Глава десятая

УЧИТЕЛЬ КРАСОВСКИЙ

Александр Александрович, как я сказал выше, был младший из двух сыновей ректора вятской семинарии, архимандрита Трифонова монастыря, Амвросия.

Старший сын, Владимир, в мое время где-то служил в Петербурге и в то же время занимался изданием портретов знаменитых духовных иерархов, которые шли очень ходко, особенно среди сельского духовенства; младший окончил курс в конце 50-х годов в петербургской духовной академии в числе первых студентов.

Преподаватель он был чрезвычайно оригинальный. В классе он редко кого спрашивал урок, а все преподавание его носило характер живой, дружеской беседы учителя с учениками. Ему не было дела до того, учили ли ученики урок, ходили ли в класс или не ходили, от учеников он требовал серьезных умственных занятий. Он

души не чаял в тех учениках, которые серьезно занимались наукой и любили чтение книг.

Входя в класс прямо в шинели, он сам вешал ее на вешалку и, вежливо раскланиваясь, становился у передней парты.

Человек тридцать окружали его и слушали его живую речь о современной литературе, его меткие характеристики лучших ее представителей. Остальные, более ленивые ученики усаживались у дверей на последних партах и занимались, кто чем хотел: играли в карты, пели в полголоса и т. п.

Иногда громкий их разговор вызывал со стороны Красовского замечание:

— Господа, нельзя ли потише?

И ученики моментально замолкали.

Впоследствии, когда ученики поближе узнали Александра Александровича, все полюбили его, и в классе никогда не было ни шума ни шалостей; в крайнем случае ученики сами выталкивали шалунов из класса.

Чтобы лучше узнать учеников со стороны их умственного развития и материального положения, Александр Александрович велел каждому из нас в классе написать свою автобиографию. Таким образом каждого из нас он мог узнать, о каждом мог в случае нужды хлопотать перед начальством, облегчать его занятия советами, даровой раздачей книг и учебных пособий, помогать денежными средствами и т. п.

В течение двух учебных годов мы, словесники, основательно познакомились с нашими лучшими писателями: Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Грибоедовым, Кольцовым. Тогда только-что начали выходить в свет одни за другими произведения Тургенева, Гончарова, Островского, Писемского, Льва Толстого и др. С этими писате-

лями мы знакомились в классе; вслух читали ученики или Александр Александрович их произведения, об'ясняли, комментировали, спорили; все, что не могло быть прочитано в классе, мы читали дома, в нумерах, собираясь для этого группами по вечерам.

В произведениях всех писателей, помимо их художественно-литературной формы, Александр Александрович старался искать общечеловеческое содержание. Человек, служение человеку и содействие его счастью были любимой темой его бесед при чтении или разборе литературных произведений.

В классе мы читали с Александром Александровичем «Записки Охотника» [29], и много слез над ними пролили...

Еженедельно, по субботам, Александр Александрович приезжал в семинарию в 4—5 часов вечера, перед всенощной, с двумя большущими чемоданами книг для раздачи их ученикам. С книгами он помещался в передней у своего знакомого профессора, Гавриила Яковлевича Порфирьева, брата известного профессора Казанской духовной академии, Ивана Яковлевича, автора «Истории русской словесности».

Ученики уже заранее знали о приезде Красовского и потому без зова массами являлись за книгами, становясь в передней и в сенях квартиры. Я обыкновенно записывал выдаваемые книги в особую тетрадь, а Александр Александрович выдавал иногда с пояснениями — почему следует прочесть ту или другую книгу.

Шли за книгами словесники, философы и богословы.

Уже в первые два года моего пребывания в словесности, в течение 1859—1860 годов, нам удалось таким образом прочесть, по указанию Александра Александровича, Белинского, тогда еще не вышедшего отдельным изданием (в «Отечественных Записках»), «Пропилеи», издание

Гончарова [30], «Историю XVIII века» Шлоссера[31], Кудрявцева «Римские женщины по Тациту» [32], Гончарова, Писемского «Тысячу душ», Герцена «Кто виноват», «Письма об изучении природы» [33], Достоевского «Бедных людей», «Неточку Незванову» [34] и много других.

В то время особенно пользовался популярностью среди молодежи отдел иностранного обозрения в «Русском Вестнике, составлявшийся, сколько мне помнится, по «Times'y». Мы перечитывали его ежемесячно; точно так же с величайшим интересом прочитывали от корки до корки книжки «Современника». Статьи Добролюбова [35] просто проглатывали. Но так как некоторые серьезные статьи «Современника» (например, Н. Г. Чернышевского и др.) Александр Александрович считал необходимым прочитывать вместе, в классе же читать их было невозможно, то обыкновенно накануне праздника, после всенощной, Александр Александрович посылал ко мне своего кучера или сторожа с запиской следующего содержания: «Красноперов, приходите ко мне сегодня на ночлег — пришел «Современник»... Ужасно много интересного. Приводите с собой Романова, Селивановского, Голтовского и еще кого-нибудь из ваших товарищей».

Иногда он сам по вечерам заходил к нам в номера и увозил к себе.

Мы просиживали у него за чтением почти всю ночь.

Шумные дебаты, смех, шутки по поводу прочитанных некоторых романов и повестей не давали нам возможности сомкнуть глаз.

Разумеется, нас всегда при этом поили чаем и кормили ужином.

Спали мы кто на диване, кто на полу, кто на книгах, наваленных кучами на полу у стены.

Перед от'ездом нашим домой на летние и рождественские каникулы Александр Александрович рекомендовал нам наблюдать и изучать крестьянскую жизнь. С этой целью, вместо уроков, он давал нам на каникулы сочинения на темы из народной жизни: «Крестьянские свадьбы», «Сельские ярмарки и базары», «Народные суеверия» и т. п.

Некоторые из этих моих сочинений были тогда же напечатаны в местных губернских ведомостях. Якушкин в библиографическом указателе, помещенном в 1865 г., в первом выпуске «Обычного права», приводит заглавия некоторых из этих статей [36].

Помнится, за статью «Верования вотяков» редактор губернских ведомостей Н. И. Золотницкий. присудил выдать мне гонорар в 20 руб.

Для получения этих денег надо было итти в губернское правление, где помещалась редакция газеты, и, конечно, в простой учебный день. В 9 часов утра я отправился к инспектору.

— Позвольте мне, отец инспектор, на один час сходить в город.

— Зачем тебе?

— Статья моя напечатана в губернских ведомостях, так редактор велел мне за деньгами притти в губернское правление, — говорю я смело и с гордостью, глядя ему прямо в глаза.

— Ты... ты... писать стал? Ха-ха-ха! — саркастически хохотал инспектор, хлопая себя по бокам руками. — Да знаешь ли ты, что я более 50 лет на свете живу, да и то еще не чувствую в себе призвания к сочинительству? А ты, молокосос, — писатель... Ха-ха-ха! Что ты написал, за что бы тебе еще деньги следовало давать?

— «Верования вотяков».

— Где это ты вотяков-то мог изучить?

— В Елабужском уезде.

— Наврал, чай, какую-нибудь чушь да и в печать понес. Ох, вы, писатели!.. Ступай, да смотри недолго.

Отвлеченных, философских тем Александр Александрович не любил давать ученикам, считая разработку их для нас непосильной.

Глава одиннадцатая

Я МЫСЛЮ—СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ

Сейчас живо припоминаю один курьез с сочинением, данным нам уже в философском классе учителем логики, психологии и патристики [37] А. Н. Верещагиным. Он дал нам на дом на 10-дневный срок сочинение на тему: «Cogito ergo sum» [38].

Мы все, конечно, упали духом и положительно не знали, что писать.

Предполагалось, что мы уже достаточно вкусили философских знаний, усвояя из допотопных учебников разные метафизические формулы.

Психологию мы, например, учили по учебнику архимандрита Кикодзе (существовал такой), который человеческие способности разграничивал в мозгу какими-то перегородками: в одной существовал разум, в другой, как низшая способность, рассудок и т. д.

В своих ответах учителю или на экзамене мы нередко путали и ставили, например, разум на место рассудка, и наоборот.

Волей-неволей приходилось на зубок задалбливать всю эту дребедень. Вот таким-то философам и дали мудреную тему.

Я и другой ученик, Романов, пошли к Александру Александровичу Красовскому посоветоваться.

— Ничего не можем написать, помогите нам, пожалуйста.

— Странно. Верещагин, кажется, не глупый человек, а дал вам несообразную тему, — заметил Александр Александрович. — За эту глупость я накажу его. Завтра приходите ко мне, я обоим вам напишу сочинения. Если Верещагин спросит: какими источниками пользовались, то скажите, что читали Герцена «Письма об изучении природы», и статью Гегеля [39] в изложении Карпова в «Библиотеке для чтения».

На другой день оба сочинения были написаны Александром Александровичем и нами собственноручно переписаны в тетради, сочинения, хотя на одну и ту же тему, но с различным содержанием, уснащенные терминами «субстанция», «трансцендентальный» и т. д.

Ровно через две недели Верещагин приглашает нас обоих к себе на квартиру, помещавшуюся в среднем корпусе вверху, над ученической столовой.

— Вы сами, конечно, написали сочинение? — обратился он к нам с вопросом.

— Конечно сами, Александр Николаевич.

— Написано хорошо у обоих. Вот говорили, что тема не по вас, а ведь могли же некоторые написать. Значит, тема вполне пригодна для философского класса. Я вам поставлю высшие баллы.

— Благодарим покорно, Александр Николаевич.

Красовский долго после этого хохотал и уверял нас, что Верещагин и сам многого не понимал в наших сочинениях.

Глава двенадцатая

НАС ВЫВОДЯТ В ЛЮДИ

Не помню хорошенько, в 1860 или в 1861 году, в семинарии были организованы, в мае месяце, по мысли Александра Александровича, «конференции», — публичные чтения лучших сочинений учеников, на которых присутствовало все начальство семинарии, учителя и ученики.

Ученья в эти дни уже не полагалось.

Ученики читали свои сочинения, стоя на кафедре, после чего они подходили под благословение о. ректора, который награждал их книгами, пожертвованными для этой цели преосвященным Агафангелом.

На одной из конференций дошла очередь до чтения моего сочинения на тему:

«Совместно ли занятие священника с занятием земледельца».

На верху тетради рукой преосвященного было написано:

«Бог благословит прочесть».

В одном месте сочинения у меня было вставлено выражение «белоручки-аристократы», на что преосвященным на полях было замечено: «о старших себе не следует так выражаться».

Не помню содержания самого сочинения, но отлично помню, что я доказывал в нем совместимость и даже необходимость занятия священника земледелием, что должно служить прекрасным примером для прихожан, особенно, если священник ведет рациональное хозяйство.

Не знаю, существует ли и теперь в вятской семинарии этот прекрасный обычай, какой существовал в начале 60-х годов

Не менее велико было нравственное влияние Александра Александровича на преподавателей и вообще на весь склад семинарской жизни.

До поступления его в семинарию в качестве преподавателя в семинарии существовали допотопные бурсацкие нравы: учителя смотрели на учеников с высоты своего менторско-чиновничьего величия, учеников секли розгами, оставляли без обеда, ставили на колени, обращались с ними грубо, отличались вообще полной недоступностью.

Александру Александровичу были противны подобные отношения.

Он убедил некоторых профессоров устраивать вечера, на которых, кроме их жен и дочерей, могли бы присутствовать в качестве гостей семинаристы, по крайней мере, лучшие из них. Первый вечер был устроен в квартире Г. Я. Порфирьева, куда пригласили человек десять семинаристов.

Учителя с барышнями пели, танцовали, спорили, а мы, семинаристы, пугливо, молча и не шевелясь, сидели на стульях или же перешептывались между собой. Александр Александрович старался ободрить и оживить нас, затевая разные общие разговоры.

Мало-по-малу посещения наши учителей сделались обыденными, простыми.

Учителя приглашали нас по праздникам к себе в гости и запросто беседовали с нами.

Это имело особенно хорошее влияние в том отношении, что учителя стали добросовестнее, строже относиться к своим занятиям и деликатнее к нам; розги и всякие наказания стали анахронизмом. Даже инспектор невольно подчинился этому влиянию, хотя долго еще не переставал быть с нами грубым и ворчливым.

Глава тринадцатая

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТ ТИФА

Зимой перед масленой 1860 года в семинарии появилась эпидемия тифа. Переболело более 40 словесников и философов, некоторые умерли, чему не мало содействовали грязные, сырые номера, в которых скученно жили ученики, и дурное питание.

Александр Александрович пригласил меня жить на масленую к себе.

В последнее время он перешел от отца из монастыря на отдельную квартиру. Одна из комнат, расположенная четырьмя окнами на улицу и тремя на площадь, сверху донизу была занята книгами, в количестве по крайней мере 3—4 тысяч экземпляров.

Передняя комната, в которую вел отдельный ход с улицы, превратилась в книжный магазин. Александр Александрович устроил общественную библиотеку и кабинет для чтения. В книжном магазине между прочим велась торговля письменными принадлежностями и учебными пособиями. Александр Александрович не захотел жить на счет своего отца. В то время труд преподавателей семинарии оплачивался не более 300—400 рублей в год. Устройство библиотеки для чтения и книжного магазина давали ему сверх того лишних 200—300 р. Это был весь его доход.

Зима была в этом году суровая. Шубы у меня не было, а вместо нее я спшил себе пальто из серого солдатского сукна.

Не успел я прожить у Александра Александровича трех дней, как заболел тифом. Ходить за мной было некому, поэтому Александр Александрович отправил меня

в семинарскую больницу. Чрезвычайно ясно помню, как двое неизвестных мне людей вынесли меня на руках, а Александр Александрович кутал своею шинелью.

Была уже ночь, темная, безлунная. Мириады звезд блестели на небе. Меня на руках внесли в больницу.

Целых две недели я лежал как пласт, не помня даже о своем существовании.

Наш акушер лечил нас просто, дорогих лекарств не признавал. Кризис в больном старались вызвать самым радикальным образом: больного раздевали до-нага, подходили сзади с ведром холодной воды и вдруг обливали его с головы до ног, после чего тотчас же вытирали тело простыней. Случалось, что и после облития водой больной оставался нечувствительным, неподвижным, у других появлялась дрожь. Первые умирали, последние выздоравливали.

Благополучному исходу болезни больные обязаны были не акушеру и его лечению, а исключительно товарищам-семинаристам, которые с самоотвержением день и ночь сидели у наших кроватей. Они не боялись, что заразятся от нас тифом.

Глава четырнадцатая

СВЕЧИ ГАСИТЬ И СИДЕТЬ ТИХО!

Все мы, живя в деревенской глуши и в Вятке, вдали от городского шума, в двух верстах от города, в лесу, не имели никакого понятия об общественной жизни и ее интересах.

При возникновении мысли о месте постройки семинарии предполагалось удалить учеников от соблазнов городской жизни, сделать из них благовоспитанных

жителей церкви, кротких, «аки агнцев». Но озаривший нас свет разума, пробужденное в нас чувство любознательности не давали нам возможности оставаться этими невинными агнцами.

Александр Александрович очень хорошо понимал, что одних книг недостаточно для того, чтобы сделать из нас будущих полезных граждан отечества, надо нас ввести в круг общественных интересов.

В зиму 1860—1861 г. в Вятке вдруг появилась откуда-то (приезжая) труппа артистов, которая об'явила, что даст несколько спектаклей. О спектаклях мы имели смутное понятие только из книг.

Однажды, в субботу вечером, после выдачи ученикам книг Александр Александрович пришел к нам в номер и сообщил, что завтра, в воскресенье, он хочет сводить нас в театр, для чего взял ложу, а для некоторых учеников купил билеты, кому в кресла, кому в раек, при этом он убеждал нас никому не болтать об этом, иначе, «если узнает инспектор, беда будет». С тех пор театр так нам полюбился, что мы стали тратить на него последние наши гроши.

По праздникам ученики массами ходили в театр.

Нам позволяли ходить в город только к родственникам, и всякий раз нужно было для этого записываться в особый журнал, который в субботу вечером старшими представлялся к о. инспектору на разрешение.

— Откуда это у них вдруг так много родственников появилось? — спрашивает инспектор старшего.

— У кого приехали, у кого здесь в городе живут.

— Как это в один день все родственники сговорились приехать?—приставал инспектор.—Я пущу, но не худо бы справки навести.

— Слушаю-с. Я наведу.

Из этого ничего, конечно, не вышло. Кончилось, однако тем, что и сами старшие из богословов сделались страстными поклонниками театра.

— Чтобы вам самим в семинарии устроить свой театр?—соблазнял нас как-то зимой Александр Александрович.

— А инспектор? — возражали мы. — Ведь узнает, у него шпионы есть.

— Не узнает. Не выдавайте друг друга. Ведь и словесники и богословы дружны между собой. В субботу, вечером, инспектор уезжает в Спасский собор служить всенощную, а вы тотчас же после своей всенощной и устраивайте.

Александр Александрович пригласил ученика семинарии Владимира Игнатьевича, сына инспектора, и убедил его достать как-нибудь женских костюмов у своих сестер. Тот согласился.

Спектакль решено было устроить в следующую же субботу.

Сын инспектора притащил к нам в номер целый узел с платьями, кофтами и юбками.

В одном из крайних корпусов в философском номере был устроен спектакль.

Подмостками для сцены служили наши столы, на которых мы занимались по вечерам; декорации мы сделали сами, занавесом служили несколько сшитых вместе казенных простынь.

В то время керосинового освещения еще не было, вместо него в номерах зажигались жестяные ночники, налитые льняным маслом, а на столах ставились сальные свечи. Освещение было принесено из всех номеров корпуса; окна были завешены простынями для того, чтобы с улицы никто ничего не мог видеть.

На табуретах разместились, по крайней мере, до 300 семинаристов, из коих многие пришли с городских квартир и из мужского Трифонова монастыря, где жило несколько десятков учеников.

Из опасения, как бы сторожа не донесли обо всем инспектору, старшие отпустили их или гулять в город или спать.

Женские роли играли два богослова Падарин и Невостроев, из коих первый играл роль какой-то сантиментальной барышни, последний — живой, увлекающейся девушки, вечно носящейся с своими возвышенными идеями. Падарин был наряжен в ситцевую юбку и серую кофточку, перетянутую у талии кушаком; Невостроев — в длинное шерстяное платье малинового цвета; волосы на голове спускались на плечи вьющимися локонами; лицо было нарумянено.

Мужские роли исполнялись плохо: все говорили басом и несколько нараспев. Но мы до слез хохотали, всем аплодировали и топали ногами от удовольствия.

Первое действие было уже кончено.

В антракте ученики разбрелись по коридору и номерам подышать свежим воздухом: за кулисами были слышны крик и стук молотка.

Через четверть часа антракт кончился, публика расселась по своим местам. Занавес поднялся, и перед нами на сцене представилась парочка влюбленных: девушка склонила свою голову на плечо своего возлюбленного... Вдруг в публике пронесся чей-то взволнованный голос:

— Господа, инспектор идет!

Все моментально встрепенулись и засуетились, но не надолго: актер, изображавший собою влюбленную, сейчас же оправился от первоначального испуга и громким мужским голосом прокричал:

— Никуда не уходить... свечи гасить и сидеть тихо!..

Огни были погашены, и воцарилась непроглядная тьма.

Публика и актеры остались на своих местах.

Воцарилась такая тишина, что слышно было жужжание мухи.

Инспектор шел с одним из старших с фонарем в руках прямо к нашему корпусу. Подойдя к входной двери корпуса, он крикнул сторожа, но на зов его ответа не последовало.

— И куда это сторожа все пропали? — обратился он к старшему. — Точно сквозь землю провалились... и в столовой ни одного не нашел.

— Сторожа все спят, отец инспектор.

— Как спят? Да разве поздно? Ведь всего половина десятого,—и инспектор при этих словах достал из-под меховой рясы часы и посмотрел. — Сейчас иди и буди!

Старший едва растолкал одного сторожа, и все трое направились по коридору к тому номеру, где шло представление. Отворив двери номера и став на пороге, он увидел перед собой среди царствующей мертвой тишины кромешную тьму... постоял несколько секунд и ушел домой, никому не сказав ни слова. Очевидно, он догадался, в чем дело, и не рискнул осветить тьму фонарным светом и войти в номер; а затем, по уходе его, спектакль продолжался обычным порядком и кончился около полуночи.

После спектакля номер мы привели в порядок. Теперь началась расправа... с кулисами.

В понедельник утром инспектор отдал сторожам приказ отыскать кулисы и принести их в тот номер, где происходило «бесовское действо». Там, в номере, инспектор самолично предал их на растерзание. Он сам топтал их ногами, рвал руками, колол своим посохом, как «дьявольское наваждение», так что в конце концов от кулис

остался лишь один скелет из деревянных палок, которые он велел сжечь.

Само собой разумеется, истребление кулис и гнев отца инспектора нисколько не помешали нам сделать новые кулисы и продолжать спектакли через каждую субботу.

Однако это «дьявольское наваждение» имело такую чарующую силу, что оно овладело не только всеми нами, бурсаками, но даже всем составом семинарского персонала.

Представьте только себе: сами профессора семинарии вздумали устроить в своей квартире спектакль, сами играли на сцене, пригласили на спектакль, в качестве зрителей, инспектора с его женою и дочерьми и нескольких учеников. Помнится, играли «Доходное место» Островского [40]. Г. Я. Порфирьев очень недурно сыграл роль Жадова. Когда сын соборного протоиерея Шиллегодский, уже порядком выпивший и весь красный, как рак, сел за стол и, подперши руки в подбородок, проговорил: «А видали, как немцы плачут?» — и при этом изобразил на своем лице, как именно они плачут, то отец инспектор, неистово хлопая себя по бедрам, хохотал до слез.

И с тех пор мы безбоязненно устраивали спектакли не только в стенах семинарии, но и вне ее, в городе. Играл на сцене и Александр Александрович.

Глава пятнадцатая

ЗОЛОТАЯ ИДИЛЛИЯ ЮНОСТИ

В эту именно самую зиму 1861 г. открылись в городе воскресные школы [41]. Распорядителем одной из этих школ был Н. И. Золотницкий, редактор губернских ведомостей.

Многие из нас, семинаристов, решили посвятить себя по праздникам на служение этому делу. Каждое воскресенье, после обедни, мы ходили в город, в эти школы и учили там грамоте массой собравшихся и старых и малых мещан и крестьян.

Ходил туда и Александр Александрович.

Продолжалось так всю зиму вплоть до наших экзаменов...

Когда я мысленно переношусь своим воображением в то отдаленное время, отстоящее от нас на 33 года, и начинаю воскрешать в своей памяти малейшие детали тогдашнего движения, то все существо мое об'емлет какой-то священный трепет. Точно мы все в течение многих лет только теряли из своего умственного багажа, и теперь, узнав цену потерянного, вдруг усиленно старались найти его. Везде — в номерах, на улице, в классе — только и слышно было разговора о том, что каждый из нас прочитал, общественные вопросы стояли на первом плане... говорилось о свободе, о любви к мужику.

Для нас, еще тогда молокососов, наступило точно воскресение.

Какая-то радость, какое-то высокое одушевление наполняли наши сердца. Но мы знали, что перед нами открылся новый широкий путь знания и служения дорогой родине.

Это была золотая идиллия юности, исполненной мечтаний, невозвратное время, когда самонадеянному уму всякая высь казалась доступной, всякая преграда—легко устранимой.

Жизнь, не омраченная ни единой тенью, была в наших глазах озарена ослепительным светом...

Глава шестнадцатая

ДОБРОЛЮБОВ И „КОЩУНСТВО"

Не только во время каникул, но иногда и в учебное время Александр Александрович ездил ненадолго в Петербург «по делам», частью, как он говорил, «для освежения своей головы».

Имея постоянные сношения с издателями и книгопродавцами, он имел в то же время возможность познакомиться с некоторыми из наших писателей. Так, он познакомился с Н. А. Добролюбовым, Н. Г. Чернышевским, А. Пыпиным и В. Курочкиным, издателем «Искры» [42]. Всякий раз, по приезде своем назад в Вятку, Александр Александрович передавал нам в классе впечатления своей поездки. Его рассказы о Добролюбове и Чернышевском дышали такой глубокой любовью и уважением к этим личностям, что эту любовь и уважение он передал и нам.

Все статьи Добролюбова и Чернышевского в «Современнике» мы читали всегда вместе с Александром Александровичем и, кроме того, перечитывали еще у себя в номерах. Это чтение просветляло наши умы и наполняло наши сердца высоким восторгом.

Образ Добролюбова был окружен в наших глазах каким-то ореолом святости. В момент знакомства с ним Александра Александровича Добролюбов уже страдал тем недугом, который вскоре свел его в могилу.

Перед поездкой Николая Александровича в Италию, для поправления своего здоровья [43], Александр Александрович поехал в Петербург проститься с ним. На прощанье Добролюбов подарил ему свою фотографическую карточку, которую, по своем приезде в Вятку, он подарил мне. На оборотной ее стороне карандашом была надпись

рукой Добролюбова: «На память Александру Александровичу Красовскому».

На карточке Добролюбов изображен стоя во весь рост, волосы на голове с косым пробором, лицо худощавое.

Из Петербурга Александр Александрович привез с собой несколько автографов Добролюбова и Чернышевского, из коих один (Чернышевского) представляет записку к Обручеву (молодому офицеру-писателю *). В конце записки на синей почтовой бумаге, на букве «Ч» сделана чернильная клякса и прижата пальцем. Тому же Обручеву была написана другая записка Добролюбова на желтой почтовой бумаге, в которой он просит Обручева сходить к издателю Кожанчикову и переговорить с ним о работе для Обручева; в записке подробно описывается адрес Кожанчикова. Обручев вскоре был сослан в Сибирь по какому-то политическому делу [44].

Бывало всякий раз, приезжая из Петербурга, Александр Александрович передавал нам поклоны от Добролюбова и Чернышевского, и когда мы его спрашивали: «ведь они нас не знают», он пресерьезно отвечал:

— Я говорил им, что вы страстные поклонники их, любите читать их статьи **.

25 ноября 1861 года Александр Александрович явился к нам в класс после приезда своего из Петербурга, бледный, расстроенный. Он сейчас же об'явил нам, что Добролюбов умер от чахотки и что он был на его похоронах...

Из бокового сюртука Александр Александрович достал бумажный сверток и из него вынул несколько тщательно

---

* Обручев написал несколько статей в „Современнике“.

** Это обстоятельство так ободрило автора, что он написал письмо Чернышевскому. (См. Примечания 45, стр. 122).

сложенных лепестков от лаврового венка, положенного на голову покойного Добролюбова, и карточку с единственными напечатанными на ней словами:

«Соль русской земли».

Тут же было выражено Александром Александровичем желание отслужить по великом писателе панихиду. В ближайшее воскресенье, после обедни, семинаристам (желающим) предложено было собраться в Воскресенский собор, находящийся почти против квартиры Александра Александровича.

В воскресенье, часов в 11 утра (это было в начале декабря 1861 г.), нас несколько человек семинаристов пришли к Александру Александровичу, который об'явил нам что написал для панихиды речь.

По прочтении ее спросил нас:

— Не написал ли еще кто-нибудь из вас речи?

— У меня есть маленькая, — говорю я.

— Ну, так давайте читать, — заметил Александр Александрович.

Когда я прочел свою, Александр Александрович сказал, что моя речь лучше, а его никуда не годится и тотчас же разорвал ее на клочки.

День был пасмурный, холодный. На улице стояла такая мятель, что мы с трудом могли добраться до церкви по снежным сугробам.

В церкви было тихо и мрачно; по середине виднелся столик с кутьей, вокруг которой было зажжено три свечи. Священник облачился в черную ризу и стал раздавать свечи стоящим позади, около стены, семинаристам.

Несмотря на непогоду, их собралось все-таки человек 70. Нас человек 10 семинаристов стали на клиросе; там же поместился и Александр Александрович Красовский. Пели мы стройно, хорошо.

Когда пропели «вечную память», я вышел с тетрадкой в руках на середину церкви к столику и прочел речь, обращаясь к своим товарищам.

Не помню хорошенько содержания всей речи; в памяти моей остались одни только бессвязные отрывки.

«Русская земля, — говорил я, — понесла великую потерю...

Умер Добролюбов.

Мы все знали его, знали, что он был одним из лучших критиков после Белинского; нет, мало того, он был одним из лучших людей русской страны. Мы обязаны ему всем, что может быть только лучшего в человеке. Он воспитал в нас идеалы правды и добра, воспитал в нас любовь к народу, на служение которому он учил нас посвятить все свои силы.

Велика твоя заслуга пред молодым поколением!

В будущем, в трудные минуты нашей жизни, когда под бременем житейских невзгод мы близки будем к падению, стоит нам только вспомнить твое славное имя, твои великие заветы—и, я уверен, мы спасем себя от падения.

Пусть это старье ругает и ненавидит тебя, как развратителя молодого поколения, но это поколение горячо будет любить тебя за твои здоровые идеи; оно со смехом отойдет прочь от обскурантов, и с гордостью и самоуверенностью пойдет по тому именно пути, который ты проложил своей литературной деятельностью».

Таков смысл речи. Больше я ничего не помню. В волнении я смешался в толпе моих товарищей!..

На другой день, в 8 часов утра, инспектор пригласил меня к себе в квартиру.

— Ты говорил речь в церкви? — обратился он ко мне сурово с вопросом.

— Я, отец инспектор.

— Как ты смел своими погаными устами осквернять храм божий?.. Это святотатство!..

— Я, отец инспектор, ничего худого не сказал. Я сказал только, что Добролюбов учил нас мыслить, что он был великий писатель.

— Ох, вы, дураки, дураки! Учились мыслить у таких людей, которые сами люди вредные для общества. Мыслить учатся по логике. Читайте, изучайте логику Карпова, Баркова, Бахмана; а то у какого-то Добролюбова учатся мыслить?.. Ты достоин исключения... Прощаю в последний раз... Ступай.

Глава семнадцатая

ВСЕ СИЛЫ ПОЛОЖУ ЗА НАУКУ

Последний год в философском классе я стал серьезно задумываться над вопросом о поступлении в университет. Некоторые из моих товарищей за год перед тем уехали в Казанский университет.

Александр Александрович выхлопотал для меня у начальства позволение жить и кормиться в семинарии в течение целого года, не посещая классов.

В июне месяце 1862 г., пред экзаменами, я подал в семинарское правление прошение об увольнении меня из семинарии.

«Во что бы то ни стало поеду я в университет», — решил я [45].

Ни копейки за душой у меня не было.

У меня созрела мысль: итти пешком до Казани. Правда, это было далеко — более 400 в., но мне думалось, что в 3—4 недели я все-таки дойду, а там приду к универси-

тету, «храму науки», и поклонюсь ему до земли. Скажу ректору: так и так, учиться хочу, все силы положу за науку.

К счастью моему, тотчас после экзаменов, семинаристы надумали устроить в мою пользу литературно-музыкальный вечер, на который решено было пригласить городскую публику. Плату за вход предположено брать по 5 коп. с человека.

Тогда всякие такие вечера устраивались легко, так как не требовалось просить на это разрешения у местных властей.

Вечер был устроен в большой сборной зале, перед зимней церковью. Собравшаяся публика состояла большею частью из семинаристов, из посторонних пришло несколько барышень и чиновников из молодых; из семинарских преподавателей был один только Александр Александрович.

Один из семинаристов-богословов пропел «Хутор» Кольцова, другой прочел что-то из «Записок охотника» Тургенева; на мою долю досталось прочесть стихотворение Огарева [46]:

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно мятежным... и пр.

В семинарии был свой прекрасный музыкальный оркестр, который в этот вечер сыграл несколько новых пьес.

В конце концов вечер дал сбор 15 рублей, которые и были вручены мне целиком.

В то время нас распускали на летние каникулы 15 июля. Помню, стояли жаркие дни, 12 и 13 числа к семинарии наехало много повозок, крытых суровым осмоленным холстом. Повозки эти остановились в 100 саженях

от семинарии подле дороги, ведущей из семинарии в город, на большом пустыре, заросшем довольно густой травой.

15 июля с раннего утра все семинаристы почти раз'ехались, осталось только 5—6 повозок, да и те к вечеру уедут во-свояси.

Очень хотелось мне ехать домой к матери. Она писала мне, чтобы я приехал на недельку к ней, обещая уплатить за дорогу деньги, тем более, что она продала отцовский дом за 40 р. и перешла жить в казенную избу в качестве просвирни. Я обещал приехать к ней на неделю, как только устроюсь в университете. Так я и сделал потом.

Я и некоторые из моих товарищей сложили свои пожитки на три повозки и отправили их до квартиры Александра Александровича, а сами пошли пешком. Мы поклялись друг другу писать... Некоторые даже дали слово, что они через год, через два тоже поступят в университет. У квартиры Александра Александровича повозки остановились. Я взял свои пожитки — белье и книги, — и распрощался с товарищами.

— Пиши нам, коли нужду горькую будешь испытывать! — кричали мне товарищи...

Через год я встретился с ними, но уже при иных обстоятельствах.

Поездка моя в Казань состоялась 30 августа 1862 г. Меня пригласили с собой два студента университета. Н. Орлов и И. Князев, оба местные уроженцы.

Из Вятки до Казани ходил тогда единственный буксирно-пассажирский пароход. Я приехал к пароходной пристани в то время, когда пароход уже отчалил от берега и медленно, пыхтя, двигался вперед; поэтому мне пришлось догонять его на лодке. Меня некому было прово-

жать, так как Александр Александрович еще за две недели до этого уехал в Петербург.

День был серый, пасмурный; моросил мелкий дождик. Я долго стоял на палубе, на одном месте, вглядываясь в купу домов с зелеными крышами и стараясь отыскать среди них дом Александра Александровича, но из-за высокой горы ничего не было видно. Через $^1/_4$ часа за поворотом все скрылось из моих глаз. Не думал, не гадал я, что больше никогда уже не увижу Александра Александровича...

Палуба третьего класса была совершенно открыта и даже без всякого сиденья, поэтому мы были предоставлены в полное распоряжение стихиям. Во время дождя скрывались внизу, у машиниста. Пароход шел ужасно медленно, у каждой пристани стоял по полсуткам, а в г. Орлове—целые сутки, так как там жил тесть капитана парохода.

Поэтому неудивительно что в Казань мы могли приехать только на девятый день утром.

Глава восемнадцатая

СТУДЕНТЫ И ПРОФЕССОРА

В Казань мы приехали утром 6 сентября и остановились у татарина в татарской слободе, тянущейся вдоль озера Кабана.

Мои новые товарищи, студенты, целых два дня ходили искать квартиру какого-то знакомого им чиновника Камкова. На третий день мы наняли ломового извозчика, на которого взвалили багаж, а сами пешком пошли в Старую Горшечную улицу, где жил Камков.

Квартира наша помещалась во флигеле, на дворе, в нижнем этаже, и состояла из одной продолговатой комнаты с одним окном, на половину спускавшимся ниже уровня земли; поэтому, когда люди шли по двору, нам видны были только их ноги. В комнате стояли два крашеных суриком стула и стол; ни кроватей для спанья ни каких-либо других приспособлений для помещения белья и книг не было. Товарищи мои сложили белье и книги на окно, а я весь свой скарб сложил в углу, на полу.

Из книг я привез с собой только Шлоссера «Историю XVIII столетия», подаренную мне А. А. Красовским, и рукописное сочинение Фейербаха «Сущность христианства» [47]. Шлоссера я читал и перечитывал от доски до доски несколько раз.

Спали мы на полу, вповалку. В головы клали все принадлежности остального верхнего туалета. В первое время вместо обеда мы ограничивались одним чаем с булкой или же ели колбасу с черным хлебом.

Денег у всех у нас было мало; я, по крайней мере, приехал в Казань всего с четырьмя рублями в кармане.

Мне хотелось скорее видеть университет.

Университет притягивал меня к себе своей наукой, книгами, которых в библиотеке, как мне говорили, было несколько тысяч.

Товарищи мои были второкурсниками, поэтому они знали все университетские порядки. Когда я спрашивал их, скоро ли мы пойдем в университет, они отвечали: «Успеем еще, вот немножко поустроимся и пойдем».

Когда я в первый раз шел к этому святилищу со своими товарищами, дыхание у меня сперло от волнения, в душу мою проникал какой-то священный, благоговейный трепет. Занятий еще не было, и мне показали все:

библиотеку, анатомический театр, аудитории, физический кабинет. Во дворе я увидел памятник Державину с лирой в руке и поднятым кверху челом [48].

В студенты я однако не попал, потому что не держал экзамена: в то время семинаристов не стали уже принимать прямо в университет с одним поверочным экзаменом при университете; надо было держать в гимназии. Но все равно меня приняли вольнослушателем. Деньги за первое полугодие—двадцать рублей—мне собрали грошами студенты, и я стал слушать лекции по историко-филологическому факультету. Все лекции я посещал очень аккуратно, по крайней мере в первое время.

Кажется, только за год до моего поступления в университет студенческая форма была совсем отменена, и студентам было предоставлено право одеваться во что кому угодно. В первое время меня крайне поразила пестрота студенческих костюмов: по коридорам и аудиториям пестрили в глазах сюртуки, пиджаки, пальто и кучерские поддевки с плисовыми шароварами всевозможных цветов; из-за воротников этих костюмов выглядывали крахмальные рубашки и просто кумачевые и ситцевые косоворотки.

Из профессоров филологического факультета особенной известностью пользовались Булич и Григорович. Булич читал нам на первом курсе историю «освободительной литературы XVIII столетия». Лекции отличались живостью, содержательностью и художественностью изложения; поэтому его аудитория всегда была полна студентами разных факультетов.

Интересны были лекции профессора Фирсова, читавшего нам общую историю, помнится, древнюю, но он являлся к нам редким гостем, поэтому и лекции его не оставили в нас почти никакого следа. Он чувствовал

особенное влечение к Бахусу. Бывало перед началом его лекции кто-нибудь из студентов громко об'являл в аудитории: «Господа, Фирсов сегодня пьян и на лекции не будет!..» Мы хохотали и расходились. В течение трех осенних месяцев мы только три раза видели его на лекциях.

Древнюю историю Греции читал проф. Угянский, скорее не читал, а рассказывал из древне-греческой жизни шутливые анекдоты. У меня остались в памяти несколько игривых выходок его о современном прогрессе, в который он ни мало не верил. Движение вперед представлялось ему толчением людей на одном месте, наподобие вертящейся в колесе белки, воображающей, что она, сидя в колесе и передвигая ногами, бежит вперед, тогда как на самом деле стоит все на одном месте.

Щаповская история [49] повлияла на профессоров в том отношении, что они присмирели и со студентами стали в более сдержанные отношения.

Прежде у некоторых из профессоров бывали еженедельно журфиксы, на которые являлись и студенты. К Буличу приглашались только избранные из студентов; например, аккуратно посещал его вечера студент Осокин, впоследствии профессор, прославившийся столь незавидной репутацией [50]; Фирсов совсем перестал принимать у себя студентов.

Начавшиеся после Щаповского погрома изолированность и отчужденность между профессорами и студентами продолжали развиваться все сильнее и сильнее, вследствие чего студенты каждого факультета составили свои отдельные кружки.

Нравственная связь между профессорами и студентами как-будто порвалась.

Душою и центром студенческих сборищ был кружок историко-филологический, привлекавший к себе студен-

тов из других факультетов: медицинского, юридического, естественного. У кружка была своя большая библиотека, состоявшая из книг научного и беллетристического содержания. Члены кружка собирались раз в неделю, по четвергам. Здесь обсуждались всевозможные вопросы, касающиеся науки, студенческой жизни, вопросы общественные и политические, иногда читались сочинения научного содержания. В библиотеку выписывались журналы: «Современник», «Русский Вестник», «Атеней»; из газет: «Петербургские Ведомости» [51], «Искра» (Курочкина).

Подпольной литературы тогда не существовало [52], да в ней не было надобности; единственно, что читалось в кружке в качестве полузапрещенного издания, это— «Колокол» Герцена [53].

Студенты тогда еще не были лишены права творить свой собственный суд и расправу над своими виновными товарищами [54]. Пользование этим правом не вело за собой нарушения общественного порядка, тишины и спокойствия обывателей.

Всякого рода предосудительные со стороны студентов поступки подвергались обсуждению на собрании кружка, собиравшегося большею частью в стенах же университета, в курительной комнате; на эти собрания допускались все студенты.

Виновный по приговору суда обязывался иногда извиниться в присутствии товарищей перед тем, кого он оскорбил; за более крупные поступки подвергался публичному выговору, временному удалению из университета или даже исключению из него навсегда, о чем и сообщалось студентами коллегии профессоров или ректору. При мне был только один случай удаления студента из университета за публичное и вторичное оскорбление студентом одной девушки.

Глава девятнадцатая

ИСТЫЕ ДЕМОКРАТЫ—УЧЕНИКИ ЩАПОВА

Между студентами я нашел себе очень хороших друзей в лице К. В. Лаврского и Бирюкова, которые в «минуту жизни трудную» помогали мне всем, чем могли, готовы были делиться со мной даже последней рубашкой.

Помню, К. В. Лаврский послал свою статейку в только-что появившуюся тогда газету «Очерки», издававшуюся Елисеевым [55]. Статью напечатали, и прислали 29 рублей гонорара в конверте с сургучной печатью, на которой рельефно отпечатались слова: «Верь и надейся». Почти все эти деньги он передал мне... хотя сам сильно нуждался в них; но ему помогал брат, профессор семинарии, Валериан Викторович, ныне протоиерей кафедрального собора в Самаре.

Бирюков, сын дьячка в Пермской губернии, был сущий бедняк. По физиономии, по манерам, образу жизни и даже по оборотам речи это был тип мужика-пермяка, которого так прекрасно обрисовал Решетников в своих очерках [56]. Он пробавлялся ничтожным уроком, оплачиваемым 10 или 15 рублями в месяц; но и этими деньгами он делился с нуждающимися студентами.

Люди очень развитые, беспредельно добрые ко всем нуждающимся, во всем искавшие прекрасного, даже в самом отверженном существе искавшие искры божией, — это были ученики Щапова.

Нравственное обаяние личности Щапова, его огненная речь к студентам о необходимости изучения русского мужика, его нужд, его умственного просвещения сделали из них истых демократов, борцов за права угнетенных и униженных.

Они жили, думали идеями Щапова [57]. Таких, впрочем, было немного. Большинство т. е. те, которые увлекались идеями, лекциями Щапова, носили его чуть ли не на руках; но теперь, когда над ним стряслось несчастие, отвернулись от него, даже избегали говорить о нем, сделались карьеристами, хотя и остались либералами.

Бирюков впоследствии (спустя пять лет) сделался жертвой алкоголизма, страшной, неизлечимой болезни. Он пил и пил, пил до того, что спустил с себя все... Ходил в отрепьях, почти полуголодный, выклянчивал у своих знакомых и приятелей «пятачок» на водку. В Казани же пьяный, на улице, так и умер этот несчастный, которого никак не мог спасти его друг, К. В. Лаврский, много раз напрасно пытавшийся обратить его на истинный путь, поддержать его доставлением ему работы и пр.

В начале 1863 года я неожиданно получил из вятской семинарии от товарищей письмо со вложением двадцати рублей и посылку с бельем. Они извещали меня, что, узнав о моем положении, «мигом устроили между собой подписку и собрали прилагаемое при сем», белье тоже собрали по подписке, так как узнали, что все белье свое я оставил в повозке при переезде на квартиру А. А. Красовского; его кто-то взял.

Это внимание моих товарищей по семинарии глубоко растрогало меня... А. А. Красовский, с своей стороны, тоже не забывал меня своими письмами и деньгами. В каждом письме он ободрял меня, советовал стремиться вперед, рисовал мне светлое будущее...

Однако вскоре университетская жизнь моя неожиданно прерывается...

Глава двадцатая

В ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ

17 марта 1863 года[58] в час ночи в двери одной из меблированных комнат на Проломной улице в г. Казани, где я жил вместе со студентом-медиком Л., кто-то тихо постучался; затем удары в дверь кулаком участились.

Быстро вскочив с постели, в одной рубашке и босоногий, я подошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Пустите. Здесь живет Красноперов?

— Здесь.

Я догадался, что пришла полиция арестовать меня.

В отворенную половину двери боком пролез высокий, плечистый полицеймейстер барон Витте, вслед за ним жандармский офицер и два жандарма.

В коридоре стояло у дверей на всякий случай еще несколько полицейских.

— Ну, вас надо обыскать, — обратился ко мне довольно грубо полицеймейстер.

— Где ваши бумаги?

Я указал на письменный стол и открыл ящики, откуда уже сам полицеймейстер вынул бумаги и тщательно пересмотрел, а офицер в то же время стал шарить у меня на постели и под постелью, вытащил из чемодана все белье, перетряс отдельно каждую вещь, а в носки засовывал руку; затем все скомкал и положил обратно.

В бумагах полицеймейстер нашел лишь один экземпляр «Земли и Воли»[59], на который он только взглянул, не читая, и смешал вместе с другими бумагами.

В составленном протоколе, скрепленном сургучной печатью, полицеймейстер написал, что «в бумагах ничего

предосудительного не найдено»; в конце концов он велел мне подписаться, подписался сам, а также жандармский офицер [60].

— А теперь потрудитесь одеться, соберите ваши вещи и пойдем.

— Куда? — говорю я.

— Там видно будет.

Я захватил с собой только подушку и чемодан с бельем. Молча простился я с товарищем и вышел на улицу вместе с полицеймейстером и сел с ним на пароконные сани.

Офицер и жандармы куда-то мигом исчезли.

Мы под'ехали к квартире полицеймейстера на Воскресенской улице. В приемной комнате мне довольно долго пришлось оставаться в неизвестности; все время я ходил взад и вперед, стараясь угадать: куда меня отсюда отправят и за что собственно меня арестовали. Недоумение мое однако скоро рассеялось. В комнату вошел человек с подносом, на котором стояла тарелка с четырьмя нарезанными кусочками колбасы и двумя ломтиками черного хлеба.

— Закусите на дорогу, молодой человек, — сказал входя полицеймейстер и указывая на закуску. — Ведь вы поедете в дальнюю дорогу.

— Куда же?

— В Вятку. Вы послали туда какое-то письмо, что ли, так тамошний губернатор велел вас представить к нему.

Разумеется, мне было не до еды, тем более в такую раннюю пору. Окно из приемной выходило на двор, и я, прильнув лбом к стеклу, увидел, что во двор в'ехала тройка лошадей с просторными, обшитыми рогожей санями.

— У вас, верно, нет шубы? — обратился ко мне полицеймейстер, увидя, что я надеваю пальто из серого солдатского сукна.

— Другой нет, — говорю; — но могу доехать и в этом.

— Ну, нет, так будет холодно. Я вам дам шубу отсюда, знаете... солдатскую, а из Вятки вы возвратите ее с жандармами.

Шуба оказалась тяжелая, и я едва надел ее при помощи жандарма.

— Дорогой ведите себя хорошо, — сказал мне на прощанье полицеймейстер.

Что он разумел под этим? Чтобы я дорогой ни с кем не разговаривал, не вел пропаганды?

Уже совсем почти рассвело, когда мы выехали из полицейского двора.

Было довольно холодно, поэтому шуба была совсем не лишней.

Оба жандарма вскоре уснули. Всю дорогу они молчали и смотрели за мной не очень строго. Случалось, что ночью на станции, когда я просыпался, их совсем не оказывалось в комнате.

На одной из почтовых станций в г. Малмыже, Вятской губернии, мне пришлось свободно беседовать с двумя крестьянами, настойчиво пристававшими ко мне с вопросом: за что меня, такого молодого и худенького, везут так строго?

— Убил, что ли, ты кого?

Я об'яснил, в чем дело, и они ушли; но когда я уже усаживался в сани для дальнейшего путешествия, на улице перед воротами собралась толпа народа человек в десять, которая на прощанье молча сняла шапки.

Глава двадцать первая

В БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ

19 или 20 марта, часов в 10 утра, мы приехали в Вятку и под'ехали прямо к губернаторскому дому.

Мне долго пришлось ждать в приемной, пока меня пригласили в кабинет, где, кроме губернатора Струкова, присутствовали два офицера: воинский начальник или комендант, другой — жандармский капитан. При входе моем все они уставились на меня и рассматривали с ног до головы, точно какого зверя.

Губернатор показал мне одно письмо и спросил:

— Признаете ли вы, что это письмо писано вами?

— Да, признаю.

— С кем вы его сюда послали?

— Право, совершенно не помню.

— Ну, так после разберем, — сказал он, обращаясь к офицерам.

Письмо было адресовано на имя учителя духовной семинарии А. А. Красовского. Оно заключало следующие строки: «В виду имеющих совершиться для общего блага событий сей человек принял на себя роль апостола-проповедника. Роль его в высшей степени прекрасная и полезная. Прошу принять этого апостола и исполнить те поручения, которые на вас возложит. Время близко, старому свету приближается конец, и Россия воспрянет от сна. Верю, что вы примете в этом деле непосредственное участие. Да здравствует демократическая конституция. И. К.» [61]

Больше ко мне на этот раз не приставали.

Меня попросили в другую комнату, повидимому, столовую, посредине которой стоял длинный стол, покрытый

зеленой клеенкой; на столе, на большом подносе, на тарелочках расставлены сыр, икра, колбаса и графин водки.

— Закусите с дороги, — сказал губернатор, — войдя в комнату и указывая на стол.

Я сразу выпил две рюмки водки и закусил только кусочком хлеба, обмакнув его в соль.

Через полчаса меня опять пригласили в приемную и велели одеться.

Было уже половина первого пополудни, когда явившийся комендант пригласил меня ехать с ним. По дороге он подозвал пальцем шедшего по тротуару офицера и предложил ему сесть к нам на козлы.

— Вот видите, к нам гостя привезли, — сказал он офицеру, — мотнув головою в мою сторону.

Коменданту показалось, что мы едем слишком медленно, а потому, вынув из санок правую ногу и подняв ее кверху, он несколько раз ударил ею кучера, приговаривая: «я тебя, вот, дурака... поезжай скорее, поезжай!» Так вынимал он ногу дважды и дважды же колотил ею кучера.

У коменданта в кабинете оказался мой чемодан, в котором опять перерыли все белье, а меня самого комендант полушопотом спросил:

— У вас нет в карманах иголок, булавок, ножниц или перочинного ножика?

— Ничего нет.

— Хорошо, я вам поверю и не буду обыскивать.

Дорогой комендант конфиденциально сообщил мне, что «губернатор хотел было заключить вас прямо в острог, но я нашел это слишком жестоким и настоял на том, чтобы вас поместить в больнице душевнобольных... Другого подходящего места нет. Там вам и комната будет и пищу будут давать получше, а в остроге ведь...»

Комната, где меня поместили, была светлая, в два окна на двор; посредине стояла железная кровать с мочальным матрацем и двумя подушками; белье на постели чистое, байковое одеяло новенькое — с иголочки. Дверь в мою комнату, на половину стеклянная, вела в коридор.

Уходя, комендант прибавил: «если вам что-нибудь будет нужно... папирос, сигар, то стоит только написать мне записочку, и я немедленно вам пришлю». Я поблагодарил его за любезность.

Впрочем, вся эта любезность, как оказалось впоследствии, была ни больше ни меньше, как полицейской уловкой.

Сначала в моей комнате у дверей поставили солдата с ружьем, который по ночам ходьбой взад и вперед, сморканьем и кашлем не давал мне спать: поэтому я упросил коменданта поставить стражу в коридоре у дверей. К неудобствам моего пребывания здесь относились крики и пение басом сумасшедшего диакона, жившего от меня через комнату; он нередко и днем и ночью возглашал кому-то многолетие.

Дня через три после моего водворения в сумасшедшем доме ко мне почти каждую ночь стали являться полицеймейстер и жандармский капитан с одним неизменным вопросом:

— С кем вы послали письмо к Красовскому?

Я долго отзывался незнанием. Наконец, когда эти беспрестанные ночные приставания мне страшно надоели, я назвал фиктивную фамилию Соловьева. Но тогда сыщики стали подробно расспрашивать: как имя и отчество Соловьева, какого он роста, каков собой: брюнет, блондин, с бородой или без оной и т. п.

— Имени и отчества, — говорю, — не припомню, кажется, брюнет и высоченного роста.

После этого признания меня дня на три оставили в покое, и я мог выспаться, но на четвертую ночь опять пришли ко мне с приставаниями.

— Соловьевых в Казани четверо и все они высокого роста. Который же из них настоящий Соловьев, с которым вы послали письмо?

— Не припомню, право.

Этим дело однако не кончилось. Те же чины опять пришли ко мне сказать, что ни один из Соловьевых в Вятку не ездил.

Тогда я прямо об'явил, что просто не хочу говорить, с кем я послал письмо [62].

Пришла пасха. Часов в 12 дня явился губернатор в полной парадной форме, посмотрел на стены, потолок, спросил смотрителя: «есть ли здесь тараканы или нет?» и, узнав, что тараканов нет, повернулся и ушел; затем пришел комендант, который пожелал со мной похристосоваться.

На третий, кажется, день, утром, вдруг отворяется дверь и в мою комнату вваливается толпа, человек в десять, семинаристов, моих бывших одноклассников товарищей.

Часовой опешил и не оказал никакого сопротивления.

Они христосуются со мной и упрашивают меня итти с ними в семинарию, где обещают «устроить музыку и пение по-праздничному».

— Не могу, господа, уйти: надо коменданта спросить, да и часовой не пустит. Подите к коменданту,—говорю я.

— Мы пойдем и сейчас же придем за тобой.

Ко мне уже больше не приходили.

Впоследствии я узнал, что семинаристы, действительно, ходили к коменданту. Он закричал на них, затопал ногами и даже пригрозил арестом.

— Красноперов — государственный преступник, себя погубил да и вас погубит.

Этот инцидент, впрочем, невинный сам по себе, имел однако роковые последствия для ректора семинарии архимандрита Дионисия.

О моем аресте и случае с семинаристами узнал архиерей Агафангел и потребовал ректора немедленно явиться к нему. Тот по обыкновению был пьян и к архиерею не поехал; последний вторично послал за ректором, который, конечно, явиться не мог, так как до такой степени напился, что и лыка не вязал. В конце концов «со страху» с ним случился апоплексический удар, кончившийся смертью.

Глава двадцать вторая

ТЮРЕМНЫЕ МЫТАРСТВА

Вскоре после пасхи положение мое изменилось к худшему. Полицеймейстер с жандармским капитаном вдруг круто переменили со мной обращение. Комендант перестал присылать папиросы, сторож — приносить булок и чаю.

В конце апреля, в одну тихую, теплую и светлую ночь, является ко мне комендант в парадной форме и предлагает мне одеться и «следовать» за ним. На улице у крыльца стояла извозчичья пролетка, на которую я и сел вместе с комендантом, а сзади нас верхом на лошади ехал вооруженный всадник, не то казак, не то полицейский.

Мы под'ехали к большому каменному зданию, стоявшему совершенно отдельно от других домов на самом крутике, на берегу реки Вятки. Это была тюрьма.

Едва мы подъехали к крыльцу, как ударил три раза звонок, на который из тюремных дверей выскочили два солдата, взяли меня под руки и повели в какую-то пустую комнату, кругом которой вдоль стены стояли солдаты с ружьями наперевес. Посредине комнаты два солдата сняли с меня пальто, обшарили пиджак и брюки сверху донизу.

Все это делалось быстро, методично, очевидно, по ранее составленному плану.

У меня мелькнула мысль: «должно быть, вот эти солдаты сейчас расстреляют меня».

Но такое мое угнетенное состояние продолжалось одно мгновение, потому что меня сейчас же опять повели под руки куда-то дальше, в другую комнату и двери заперли за мной на задвижку. Комната была довольно чистая, в два окна, обставлена мягкой мебелью; на стене висели портреты дам и кавалеров, у одной стены мягкий диван, а над ним зеркало, в углу у дверей висели дешевенькие стенные часы.

«Вероятно, здесь меня и поместят», — подумал я и, признаюсь, даже обрадовался.

Я слышал, как за дверями сильно топали ногами, кого-то как-будто перемещали или гнали с одного места на другое.

Часы пробили два.

Я чувствовал не то усталость, не то какое-то нервное возбуждение, все ходил и ходил взад и вперед, все ожидая для себя чего-то худшего.

Слышу — задвижка у моих дверей отодвинулась, вошел тюремный смотритель.

— Пожалуйте за мной.

Мы прошли почти весь коридор, освещенный ночником, затем вошли в комнату—довольно узкую, длинную,

грязную и вонючую. Вдоль стены с одной стороны во всю длину тянулись нары; ни стола, ни стула, ни постели не было; в углу у дверей я заметил грязную деревянную парашу. Здесь только-что разбудили уголовных арестантов и выгнали их куда-то в другое помещение.

Не успел я оглядеться в моем новом помещении, как ко мне явились полицеймейстер, комендант, жандармский капитан и тюремный смотритель. При них же на меня надели серый арестантский халат с тузом на спине.

Полицеймейстер, указывая на меня смотрителю рукой, язвительно промолвил:

— Красноперов-то хотел революцию устроить, Вятку завоевать.

Я не выдержал и грубо ответил:

— Что вы ерунду-то городите. Это вздор!

А комендант, точно желая оправдаться в том, что меня поместили в грязную клоаку, добавил:

— Это вам за то, что вы не хотели быть с нами откровенными, вот теперь и сидите тут. Мы с вами были любезны, добры, а вы в благодарность...

Он не договорил, а я за него добавил: «не выдал вам моих товарищей».

Камеру мою заперли железным засовом и за дверями поставили солдата с ружьем.

Жандармский капитан, стуча в дверь кулаком, громко прокричал, обращаясь, вероятно, к смотрителю:

— Без нашего позволения сюда никого не впускать.

Оставшись наедине с собой, я стал осматриваться. Окно моей камеры выходило на острожный двор, а рядом с ним влево помещался клозет, прилегавший к помещению смотрителя, вследствие чего отворять окно было немыслимо, так как в окно тащила вонь. В щелях давно когда-то оштукатуренных стен и в нарах гнездились клопы.

Было уже совсем светло, когда я, прямо в халате, не раздеваясь, лег на нары.

Сон был тревожный.

Часов в 8 утра я встал и сразу же начал ходить взад и вперед, ожидая, не принесут ли мне воды для умыванья и чаю.

Воды принес солдат в жестяной кружке для умыванья перед парашей, но чаю не дали; сряду же после этого двери опять заперли.

Так как из моих вещей ничего мне не оставили, даже полотенца, то я всегда утирал лицо и руки концом своей ночной рубашки.

На обед принесли какой-то серой бурды из круп с какими-то жилами на дне чашки и ломоть скверного черного хлеба.

Так продолжалось с месяц.

Само собой разумеется, ни книг, ни газет мне не давали.

От дурного питания и спертого воздуха я заболел. Я ощущал страшную слабость во всем организме и головокружение. В довершение всего со мной приключилась дизентерия.

Припоминаю одно утро. В стеклышко в моих дверях кто-то посмотрел и затем послышался громкий разговор с смотрителем.

— Не велено никого пускать,—уверял смотритель.— Ведь я за это буду отвечать.

— Я — доктор. Если я вижу больного арестанта, то я должен помочь ему.

— Право же, не велено. Я не смею. Я за все отвечаю...

— Я должен! — громко и повелительно вскричал доктор.

И отворили.

Доктор мне поклонился, взял мою руку, осмотрел пульс, выслушал грудь. Тут же на нарах он написал рецепт и передал смотрителю.

— Если последнего арестанта содержат лучше, то их-то тем более,—заметил с укором смотрителю, указывая на меня рукой.

Уходя, он подал мне руку, которую я крепко пожал и поблагодарил его.

Насколько могу припомнить, фамилия этого благородного человека была Розов.

Доктор донес о моем положении губернатору, который пригласил к себе коменданта и сделал ему выговор.

Дня через три после этого достопамятного дня в обращении со мной начальства и во всей комнатной обстановке произошла метаморфоза.

Явился комендант и при мне же напустился на смотрителя:

— Это что же? Вы ждали, чтобы мне выговор сделали? Не могли, что ли, вы принести кровать без меня, чаю давать?

Я счел однако нужным заступиться за смотрителя.

— Да ведь вы же сами с полицеймейстером и с жандармским капитаном втолкнули меня в эту камеру и не велели никого пускать ко мне! Смотритель тут ровно не при чем.

Комендант промолчал и ушел, не попрощавшись со смотрителем. Мне принесли железную кровать со всеми постельными принадлежностями, в переднем углу поставили столик и стул. Арестантский халат с тузом отобрали, заменив его новым больничным халатом из желтого сукна.

Ежедневно в известное время мне разрешили гулять по тюремному двору, при чем всякий раз перед гуляньем

всех арестантов разгоняли со двора по своим камерам, что возбуждало в них крайнее любопытство, и во время моего гуляния все они бросались к окнам и смотрели на меня, не спуская глаз.

Посередине двора стояла на четырех столбах колокольня с пятью колоколами, куда я почти ежедневно поднимался и смотрел на городские дома, на реку Вятку, расстилающиеся за ней бесконечные луга и зеленеющий вдали лес.

Мне разрешили чтение книг и газет, позволив брать их по записке из библиотеки А. А. Красовского.

Первым делом моим было заказать принести журнал «Современник» за пропущенные месяцы 1863 года. Здесь же, в тюрьме, мне пришлось прочесть в «Современнике» только-что напечатанный роман Н. Г. Чернышевского «Что делать» [63].

В июне месяце вздумал посетить меня вятский архиерей Агафангел, который пересмотрел все лежавшие на нарах мои книги и, покачав головой, с грустью проговорил:

— Все светские книги, светские...

— Отец Михаил! — обратился он к стоявшему тут же тюремному священнику.—Дайте ему из вашей библиотеки «Христианское чтение». Чтение это может его успокоить, разогнать дурные мысли...

Однако я не пожелал брать из церковной библиотеки никаких книг, и с тех пор о. Михаил ко мне больше не являлся.

Рядом с моей камерой была «приемная» для приходящих и приемки вновь прибывших арестантов.

Тут же в углу около дверей моей камеры стояла на треножнике большая черная доска, а рядом с ней небольшой шкаф с учебными и письменными принадлежно-

стями для обучения грамоте арестантских детей. Через день—через два по утрам у доски всегда стояло пять—шесть мальчиков, которых на доске учил арифметике еще молодой арестант, повидимому, бывший учитель. Всякий раз, когда дети отвечали ему невпопад, он ругал их самой отборной, отвратительной бранью. Он же учил этих детей и других церковному пению, тоже разнообразя его непечатной бранью.

Я вздумал было одно время просить смотрителя заставить этого педагога и регента прекратить эту площадную брань, но он только улыбался.

— Что же, ведь дело обыкновенное. Ведь хуже, если бы он их бил.

На то, конечно, и тюрьма, чтобы здесь дети испытали на себе самое растлевающее влияние.

В июне месяце, не помню какого числа, часов в одиннадцать утра, в камеру ко мне явился смотритель и об'явил, что сейчас меня повезут в г. Казань. Признаюсь, я очень обрадовался этой перемене.

Мне принесли все мои вещи, и я оделся во все свое. В сопровождении смотрителя я вышел на улицу в ожидании приезда лошадей.

День был теплый, солнечный, но ветреный. Долго гулял я по горе, вдыхая в себя полной грудью свежий воздух, которым я давно уже не дышал.

Некоторых из моих товарищей по университету тоже зачем-то привозили из Казани в Вятку, а отсюда опять в Казань. Одного из арестованных — Миттермана — из Вятки в Казань поехал сопровождать сам жандармский капитан, который всю дорогу пьянствовал и производил скандалы.

Глава двадцать третья

НАШ КРУЖОК В КРЕПОСТИ

В Казани меня привезли прямо в крепость ко дворцу, где временно поселился губернатор Тимашев, только-что назначенный председателем высочайше учрежденной комиссии по делу «о вооруженном восстании в Казани». Самого Тимашева, впрочем, никто из нас не видал [64].

В его канцелярии ад'ютант только расписался в приеме политического арестанта, а затем привезшие же меня два жандарма привели меня на военную гауптвахту в крепость, в одну из камер под № 7, по обыкновению, сырую, грязную, населенную клопами, двухвостками, мокрицами и сверчками.

Здесь меня опять обыскали с ног до головы.

На гауптвахте все камеры нижнего и верхнего этажей были уже заняты политическими, главным образом студентами казанского университета. Из арестованных здесь были заключены, кроме меня: Павел [65] и Иван Орловы [66], Щербаков [67] (все трое студенты-медики), Жеманов [68] (медик), Полиновский [69], Алеев [70], Сергеев [71] (юристы), Бирюков [72], Лаврский [73] (филологи), последний бывший член второй Государственной думы, трудовик, Миттерман [74] (гимназист), Ив. Пеньковский [75], Эллидин [76], Дернов [77], Е. И. Красноперов [78] (последние два—семинаристы). Булгаков [79] (мещанин гор. Лаишева, Казанской губ.)

В течение 9 месяцев, до окончания следствия, нас содержали в одиночном заключении. Сидя в одиночестве, мы имели все-таки возможность переговариваться друг с другом знаками, но членам комиссии это не понравилось и потому они старались изолировать нас «марки-

зами», как они называли приставленные к окнам трехугольные, выкрашенные желтой краской холщевые ставни, которые пропускали свет только сверху. Гулять нас пускали на ¼ часа по очереди по очень маленькому дворику, устланному камнями, поэтому травка чуточку пробивалась только около стен.

Приставленный к нам смотритель был человек старый, из военных. Так как ему трудно было подниматься и спускаться к нам по лестницам и ходить по камерам, то он ежедневно утром выходил на середину двора и кричал каждому из нас:

— Господин № 7, что вам угодно купить на рынке? А вы, господин № 10»—и т. д. Эта нелепица нас сначала не мало смешила.

Читать нам ничего не давали, чай полагался только тем, у кого был свой. Впоследствии, когда почти всех нас перевели в острог, порядки содержания изменились.

Глава двадцать четвертая

ЗА ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ

Приехавшая из Петербурга следственная комиссия обвинила нас, 15—17 человек студентов, ни больше, ни меньше, как в вооруженном восстании в городе Казани. Так по крайней мере значилось в заголовке огромного бумажного дела о нас в несколько сот листов, созданного комиссией.

Комиссия состояла из следующих лиц: тайного советника Жданова (председателя), полковника Слуцкого и чиновников Анненского и Превлоцкого [80].

Правда, на студенческих сходках мы толковали о свободных политических учреждениях, о широком просве-

щении народа, о наделении помещичьих крестьян большим количеством земли, чем сколько им было отведено по уставным грамотам [81].

Но как всего этого достигнуть на практике, мы хорошенько себе этого не представляли.

Все наши рассуждения носили чисто теоретический характер и никогда в дело не переходили. Это мы говорили и на допросе следственной комиссии.

— Никакого вооруженного восстания ведь не было, — говорили мы, — даже не было к этому и попытки. Мы только думали и говорили в своем кружке, что, пожалуй, мол, без революционного движения дело не обойдется.

— А разве вы не помните, что ходили зимой на мельницу учиться стрельбе в цель? — возражали нам. — Что это, по вашему мнению, игрушка, что ли?

— Но ведь ни одного ружья у нас не найдено?

— Что за важность! Все равно, ходили на мельницу стрелять...

Так как эта история с ученьем стрельбе в цель сама по себе довольно курьезна, то я и попытаюсь передать здесь несколько фактов из того времени.

Не знаю, по чьей инициативе, в нашем кружке состоявшем, как я сказал выше, из пятнадцати человек студентов, действительно было решено каждому запастись ружьем, все равно каким.

Я купил для себя старое, ржавое ружье на толкучем рынке за 1 р. 50 к.

Так как дуло ружья свободно отделялось от ложа, то я и привязал его в двух местах бечевкой. Какие были ружья моих товарищей — не помню.

Зимой 1863 года, в один из праздничных дней, кажется, в январе, мы собрались, помнится, в числе десяти человек, с ружьями на плечах, среди бела дня и пре-

важно пошли по главной, Воскресенской улице, в конце которой, перед крепостью, спустились под гору и направились к мельнице на реке Казанке. Никто на нас из прохожих не обратил серьезного внимания.

Там, на обледенелой реке любезный мельник поставил большую высокую льдину, а к ней прислонил доску, в которую мы и должны были палить из ружьев.

У меня сильно билось сердце, когда дошла очередь до моей стрельбы.

Мне зарядили ружье.

Не помню, что со мной было, когда я выстрелил. Я долго лежал, оглушенный, на снегу; в ушах и голове у меня звенело и шумело. Дуло ружья было отброшено в одну сторону, ложе, уже изломанное, — в другую. Остатков ружья я так и не подбирал и ушел домой с пустыми руками. «Хорошо, что хоть жив остался»,—думал я.

С тех пор мы ни разу не ходили учиться стрельбе, так как ни у кого из товарищей ружей больше не было.

Вот этот-то эпизод из нашей жизни и послужил поводом к тому, что дело наше было окрашено «вооруженным восстанием» [82].

Члены следственной комиссии, производившие следствие в течение целого года, многозначительно говорили знатным обывателям:

— Ну, батенька, хорошо, что мы во-время предупредили...

— А что?

— Быть бы беде...

— Да что же такое?

— Как же... предполагалось вооруженное восстание... Казань была бы взята... Революция...

При этом члены хватали себя за голову.

— Уж-е-е-л-и?

— Да... сам бог спас...

И пошел по Казани слух о готовившемся вооруженном восстании...

Помнится, что кто-то из профессоров казанского университета или бывший попечитель учебного округа г. Шестаков напечатал об этом времени воспоминания в «Русской Старине», в которых упомянул о том, что «Казань была об'ята в это время ужасом» [83].

Следует однако иметь в виду то обстоятельство, что по этому делу о «вооруженном восстании» не было арестовано ни одного крестьянина.

Глава двадцать пятая

СУДЬБА УЧАСТНИКОВ КРУЖКА

Так как, кроме нас, в крепости заключены были еще офицеры, тоже прикосновенные к делу «о вооруженном восстании в городе Казани», то я считаю необходимым сообщить несколько нелишенных интереса сведений.

С момента казни известного крестьянина Антона Петрова [84] в 1862 году в с. Бездне была расположена рота солдат, командиром которой состоял штабс-капитан Иваницкий, участвовавший в войне, в крымскую кампанию 1854—1855 гг. [85]; в этой же роте числились офицерами Мрочек [86] и Станкевич [87].

Иваницкий изредка приезжал в Казань из Бездны и познакомился с нашим нелегальным кружком. Это был очень интеллигентный, симпатичный молодой человек, лет 30, привлекавший всех нас к себе недюжинным умом и безграничной преданностью революционному делу. Сколько помнится, в кружке нашем мне приходилось

видеть его не более 3—4 раз [88]. Станкевича я видел только однажды, а Мрочека никогда не видал до самого заключения его в крепости.

Как-раз в это время началось польское восстание, которому Иваницкий, как поляк, сочувствовал всей душой.

Однако, в теории он никогда не хотел отделять польское освободительное движение от русского. Земский собор из выборных всей земли в качестве учредительного собрания должен был решить вопрос о будущей форме правления, выработать конституцию и предоставить в пользование крестьян всю землю, — такова была в главных чертах схема социал-демократической программы передовой молодежи.

Один из студентов, Иван Орлов, зимой 1863 г. поехал для пропаганды в восточную часть России и в Сибирь вплоть до Иркутска — его родины [89], где он во дни оны познакомился с М. А. Бакуниным, о котором не мог вспоминать без восторга.

Мне пришла мысль написать вышеупомянутое письмо к А. А. Красовскому, которое он должен был лично передать ему по принадлежности. Непоправимая ошибка Орлова заключалась в том, что по приезде в Вятку он отправился с письмом к А. А., жившему на углу Всесвятской улицы и Воскресенской площади, которого в данный момент не было дома (он уезжал в Петербург); но тем не менее Орлов отдал это письмо приказчику книжного магазина, Василию Ивановичу Захарову, недавно умершему в должности председателя вятской уездной земской управы.

Захаров, как мне потом говорили, распечатал это письмо и передал полицейской власти [90]... Доехал ли Орлов до Иркутска, мне неизвестно. Его арестовали где-то в дороге [91].

Само собой разумеется, в Казани никакой революции мы не произвели, а говоря словами одного героя Щедрина, только «в уме ее пущали».

Четверо приехавших из Петербурга чиновников, тайный советник Жданов, полковник Слуцкий, Анненский и Превлоцкий, думали на этот счет иначе. Сидя в Казани целый год, они сочинили толстое-претолстое дело листов в 200 «о вооруженном восстании».

По законам логики военного времени после подавления вооруженного восстания взятые в плен мятежники, конечно, должны быть подвергнуты смертной казни, тем более — офицеры.

После ареста Иваницкого из села Бездны приходило в Казань несколько солдат его роты просить об освобождении своего «доброго командира». Результатом их хлопот было то, что всю роту раскассировали по разным полкам.

Как известно, Иваницкий, Мрочек и инженер Кеневич, — последний неизвестно почему и за что присоединенный к «вооруженному восстанию» нашего кружка [92], плохо говорил даже по-русски, — в мае месяце 1865 года были расстреляны в Казани на Арском поле [93]. Тела их, отвязанные от столбов, были прямо брошены в ямы и зарыты, а потом по земле над могилами церемониальным маршем и с барабанным боем прошли солдаты, расстреливавшие «мятежных» офицеров.

Станкевич был арестован долго спустя после казни его товарищей в одной из польских деревень, где он скрывался от преследователей.

Одно время думали было, что он утонул, так как на берегу, реки, на его родине нашли его верхнее платье и белье. Но это оказалась симуляция... Он нарочно был привезен для казни в Казань [94].

Из всех моих товарищей-студентов более жестоко пострадал И. Орлов, который был приговорен военным судом к 15-летним каторжным работам. Впрочем, в Сибири, на каторге он оставался недолго; через несколько месяцев он бежал в Англию [95].

Для нас же было уготовано продолжительное сидение в тюрьме.

Глава двадцать шестая

ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ

Целых пять лет мне пришлось сидеть вместе с другими семнадцатью моими товарищами в четырех стенах.

Это было для нас большим горем.

Но и там, за высокими каменными стенами, мы не были лишены возможности продолжать занятия наукой.

Шестидесятые годы были временем, когда, случалось, и имеющие власть люди жили общечеловеческими идеалами ..

Нас поместили в большую двух'этажную башню, отделенную от прочих тюремных зданий особенным двором, огороженным вбитыми в землю и заостренными кверху бревнами.

Весь свой двор мы украсили цветочными клумбами.

Между ними устроили усыпанные желтым песком дорожки, по сторонам усадили кустами сирени, акации, бузины, крыжовника.

Цветы росли раскошно и наполняли небольшое дворовое пространство благоуханием; кусты разрослись так, что давали густую тень и защиту от летнего полуденного зноя; тут мы сидели и коротали длинные летние дни в беседе о «злобах дня».

Только однажды нарушил наше мирное житье генерал Семака, назначенный губернатором в Казани и вздумавший посетить нас. Во дворе ему очень понравились наши заботы о цветах и кустах. Стоявшая в углу кадка с водой обратила его внимание, и он спросил:

— Зачем кадка? Зачем вода?

— Для поливки цветов, ваше превосходительство.

— А-а-а!.. — Однако в голове его мелькнула странная мысль: а что, если кусты разростутся со временем высоко-высоко до самой вершины окружающей двор каменной ограды, и тогда мы возьмем да и перескочим по ним через ограду...

Он сейчас же велел все кусты срубить.

Тени в нашем дворе больше не стало и нам уже негде стало скрываться от палящего зноя. Но сама природа стала протестовать против такого варварства: на будущий год, летом все срубленные, но не искорененные кусты дали отростки и к концу лета опять сильно разрослись и стали давать некоторую тень; к счастью, и генерал уже больше к нам не являлся.

Опять мы зажили мирно.

Кажется, в 1865 г. к нам являлся проездом из Сибири в Петербург барон Велио [96], вместе с губернатором Давыдовым. Барон быстро подбегал к нашим столам, на которых лежали наши книги, схватывал и перелистывал их, но ничего не говорил.

Помнится, у меня на столике у кровати лежала английская книга Милля «О свободе», которую барон Велио тоже перелистал и положил опять на стол; но на эту книгу почему-то обратил особое внимание вице-губернатор Давыдов и взял ее с собою «посмотреть», да так и зажилил. Я дважды писал ему прошение о возврате книги, — ответа не было.

Беда была только в том, что мы хотя и могли ежедневно друг с другом сообщаться, но по временам страшно скучали, даже и разговоры у нас не клеились... не хотелось даже видеться друг с другом.

Некоторые из моих товарищей прекрасно играли на рояле, и вот однажды нам пришла мысль обратиться к прокурору Ольдекопу (к тому самому, который когда-то составил русско-французский словарь) с ходатайством перед губернатором, — кажется, Нарышкиным, — о том, чтобы он разрешил привезти к нам в тюрьму рояль.

— Я был, господа, у губернатора, и он удивился вашей просьбе, — сообщил нам прокурор.

— Почему?

— Тюрьма, говорит, не увеселительное заведение; на то она и тюрьма, чтобы вы чувствовали некоторое лишение.

— А вы бы хорошенько попросили его. Ведь в нашей просьбе нет ничего предосудительного.

— Все говорил... Не могу я, господа; должен подчиняться, будь то хоть палка...

Впрочем из затруднительного положения вывел нас прекрасный наш знакомый офицер Ермолин.

Каждый вечер в тюрьму являлся новый состав карауьных солдат с офицером для наблюдения за арестантами. Ермолин всегда бывало по приходе в караул являлся к нам в камеры и проводил время в беседе с нами чуть ли не всю ночь. Это был человек вполне интеллигентный, идеальный, симпатичный, до мозга и костей погруженный в науку, интересовавшийся всеми общественными вопросами, всеми «злобами дня», волновавшими тогдашнюю лучшую молодежь.

Он узнал о нашем желании достать рояль и сильно задумался над этим вопросом

— Да, вот что, господа: в мое дежурство и валяй! — везите рояль.

— Да как? Узнает смотритель, губернатор...

— Ничуть не бывало. Завтра же в семь часов утра пусть привозят рояль на телеге к тюремным воротам.

— Ну? Не пустят провезти... смотритель...

— Я скажу, что рояль привезли в тюрьму для починки. Ведь арестантам на запрещены ремесла, даже и столярные.

Действительно, утром на другой день слышим у ворот раздается команда: «Отворяй! В починку». И растворились все трое ворот.

Музыка у нас бывала большею частью по вечерам, так как днем внезапно могло нагрянуть начальство.

Во время музыки арестанты выходили из своих камер, садились в ряд у ворот нашего двора и со вниманием слушали мелодические звуки...

Мы были распределены по пяти комнатам, расположенным в двух этажах каменной башни. Со второго этажа из сеней можно было влезть на подволоку в третий этаж, где складывался всякий хлам: старые, обтрепанные арестантские халаты, разбитые горшки, угли и пр. Два оконца, загороженные толстой деревянной решеткой, выходили на одну сторону нашего двора. Так как башня была выше окружающей тюрьму стены, то из верхних окон сквозь решетки можно было видеть половину города Казани, по течению реки Казанки.

В летнюю пору мы подолгу сидели по очереди у этих решеток и смотрели на развертывавшуюся перед нашими глазами панораму городской жизни. Мы слышали стук экипажей и говор людей и мысленно переносились воображением в эту людскую толпу.

Глава двадцать седьмая

КНИГИ И РЕМЕСЛА

Разумеется, в течение этих пяти лет, проведенных нами в башне, много воды утекло.

Но и в нашей башне била ключом бурная, кипучая, юношеская жизнь. Мы продолжали там развиваться умственно и нравственно, знакомиться по книгам с теми философскими, социально-экономическими и политическими вопросами, которые волновали нас вне стен.

Прежде, в стенах университета, мы воспринимали разные учения и теории больше юношеским сердцем и чувством, чем умом; недавно выпущенные из средне-учебных заведений, мы не успели еще основательно передумать, переварить в собственной голове и затем претворить в кровь и плоть учения великих европейских мыслителей.

Мы беззаветно верили в наступающее царство света и свободы и всецело отдались этому течению... Здесь в течение пяти лет мы много пережили, много передумали и перечитали массу книг.

Тюрьма имела для нас значение университета, подобно тому, как для многих немецких деятелей в ранний период их деятельности.

Университетская фундаментальная библиотека была богата книгами по всем отраслям знания. Благодаря дружескому расположению к нам молодого помощника библиотекаря г. Третьякова мы могли получать из библиотеки всякие книги — и русские, и иностранные.

Я знал только один французский язык и чувствовал, что знания одного языка недостаточно для того, чтобы быть вполне образованным человеком. В эти пять лет

я довольно-таки хорошо изучил, кроме французского, немецкий, английский и итальянский языки. Я достал евангелия на этих языках и начал их штудировать и долбить... Не имея в руках грамматики, я изучал формы языков и обороты речи по евангелию. И в конце концов одолел. Так изучали двое других моих товарищей.

Здесь впервые мне пришлось прочесть в подлиннике сочинения Гольбаха («Система природы»), Кабе («Путешествие в Икарию»), Фурье, Прудона («Система экономических противоречий»), Луи Блана («Организация труда»), Энгельса («Положение рабочего класса в Англии», тогда же переведенное мной на русский язык для моих товарищей), Берне—«Письма из Парижа» (в шести томиках на толстой серой бумаге, и другие его сочинения). Сочинений Лассаля в университетской библиотеке пока еще не было; но я их достал в единственном, существовавшем тогда в Казани иностранном книжном магазине.

Из всех моих товарищей один я остался исключительным книгоедом.

Чтение какой-нибудь интересной книги или статьи в журнале практиковалось у нас по вечерам, для чего все собирались в одну большую камеру.

Днем некоторые из товарищей занимались какими-либо ремеслами, в которых они, практикуясь в течение нескольких лет, достигли совершенства. Полиновский научился прекрасно шить штиблеты и женские полусапожки и получал много заказов от городских обывателей; К. В. Лаврский в совершенстве изучил портняжное ремесло, Бирюков — переплетное. Последнему постоянно приносили для переплета книги из духовной академии. Дернов усовершенствовался в вырезывании печатей на металле и камне.

Глава двадцать восьмая

УГЛИ ЗДЕСЬ ДОРОГИ

Каждому из нас отпускалось на содержание по 30 коп. в сутки, которые получал смотритель тюрьмы Зернов, человек пожилой, лысый и скаредный. Он ежедневно приходил к нам по утрам в камеры и записывал в свою книжку, кому что нужно купить на рынке или в магазине.

Между прочим, он ежемесячно вычитал у каждого из нас по 70 коп. на покупку углей на самовары, так что на этот предмет он ежемесячно получал со всех нас до пяти рублей. Мы страшно возмущались такой бессовестной эксплоатацией, но до поры до времени молчали. Наконец терпение наше лопнуло, и мы написали коллективную жалобу губернатору Нарышкину на эксплоатацию нас смотрителем тюрьмы [97]. Губернатор, повидимому, тоже возмутился и сделал на нашем прошении надпись: «Об углях передать для расследования г. Войнову» (чиновнику особых поручений).

В одно прекрасное утро мы все были приглашены в верхнюю большую комнату, налево от входа; туда же вскоре прибыл и губернаторский чиновник, — молодой человек, изящный франтик с закрученными усиками. Сюда же пригласили и смотрителя тюрьмы Зернова.

Начался допрос смотрителя об углях в нашем присутствии. Тот спутался и ничего не мог сказать в свое оправдание.

— Знаете ли вы, г. Зернов, что я вас могу уволить по третьему пункту? — закричал на него чиновник, грозя в пространство пальцем.

— Я ничего... Угли здесь дороги... Они много самоваров на дню ставят...

— Молчите, г. Зернов, вы крали! Я еще не знаю, чем это может кончится; но во всяком случае вы не будете больше пользоваться их деньгами, — говорил чиновник, указывая на нас пальцем.

Мы было пригласили этого любезного чиновника выпить с нами стакан чаю, но он решительно отказался, сказав, что, «может быть, подумают, что я с вами заодно и взятку еще с вас получил».

Через несколько дней мы получаем от губернатора бумагу, в которой нам циркулярно об'является, что отныне мы будем получать суточные деньги на руки и сами же лично можем отправляться на рынок для закупки провизии и всего, что нам нужно, поочереди, под конвоем одного солдата со штыком. Это было в 1865 году.

В то же время и прокурор Ольдекоп выхлопотал для нас у губернатора позволение ходить два раза в месяц для мытья в городские бани Батурина (близ озера Кабана), разумеется, под конвоем солдат, с унтер-офицером во главе. В субботу или пятницу мы все в числе семнадцати человек ходили в бани под конвоем двадцати двух солдат по улицам Казани.

По дороге встречались наши знакомые: студенты или обыватели, мужчины и женщины, шли с нами вместе, разговаривали, шутили, смеялись, кричали, к концу нашего шествия мы образовывали вместе с приставшими к нам знакомыми большую толпу. В первое время сторонняя публика останавливалась на улице и смотрела на такое необычайное зрелище; некоторые выходили поглазеть на нас из домов на улицу, но потом все привыкли к нашему обычному шествию, которое ни в ком уже не возбуждало удивления.

В бане мы мылись по номерам отдельно, — солдаты стояли на улице,—а затем одевались, поднимались кверху

в гостиницу пить чай, на который часто приглашали и нашего главнокомандующего унтер-офицера.

Назад шли в тюрьму опять тем же порядком.

Смотритель тюрьмы выдавал нам кормовые деньги не ежедневно, а в три приема в месяц, через каждые десять дней, что дало нам возможность купить разные кухонные принадлежности и устроить в нижних сенях чугунную плиту. В тюрьме сидел бывший повар вице-губернатора, посаженный сюда за какую-то кражу в пьяном виде. Он согласился готовить нам обед за 3 рубля в месяц. На провизию ежедневно выходило по 10 коп. с человека и на булки — от 3 до 5 коп.

Иногда, в «праздничные дни», когда в караул приходил Ермолин и несколько человек сторонних гостей—студентов, дам,—повар ухитрялся приготовить мороженое или какое-либо пирожное и угощал наших гостей на славу.

Глава двадцать девятая

ЛАССАЛЬ И ЛУИ БЛАН В КАМЕРАХ

Мне страшно хотелось приобрести сочинения Лассаля на немецком языке и Луи Блана: «История десяти лет». Достигнуть этого можно было только сбережением получаемых кормовых денег. Так я и сделал. Ежедневно откладывал в купленную для этой цели жестяную копилку по 10—15 коп. Таким образом в течение 4—5 месяцев мне удалось скопить 17 рублей.

В один из будничных дней мне дали двух солдат со штыками (один сзади, другой спереди), и я отправился в иностранный книжный магазин, находившийся на главной, Воскресенской, улице. В магазине моему приходу с конвоем приказчики и хозяин магазина несколько

удивились и даже испугались, вероятно предполагая, уж не для обыска ли я пришел в их магазин с солдатами.

Хозяин немец, ни слова не говоря, достал требуемые мною книги, завернул их в бумагу и перевязал. Пять томов Луи Блана (8-е иллюстрированное издание 1848 г.) на прекрасной веленевой бумаге стоили мне 12 руб.; из Лассаля мною были приобретены за 3 руб.: «Программа рабочих», «Открытое письмо», «Наука и рабочий», «Процесс Лассаля», «Косвенные налоги и положение рабочего класса» и «Шульце-Делич или экономический Юлиан».

С этой драгоценной ношей я быстро направился восвояси, боясь, как бы меня не нагнали и не вернули книги обратно. Солдаты едва поспевали за мною следовать.

Товарищи встретили меня овациями.

С жадностью принялись мы за чтение этих книг. «Программу рабочих», «Наука и рабочий» перевели мы на русский язык для пользования тем из товарищей, которые не знали немецкого языка. С «Историей десяти лет» Луи Блана мы познакомились отчасти ранее по статьям в «Современнике» под заглавием «Июльская монархия», составленным, как говорили, Н. Г. Чернышевским [98].

Шумным прениям не было конца; мы делились на партии. В прениях принимали участие и приходившие к нам «гости»: Ермолин, Брадовский (другой караульный офицер, прекрасно знавший физику и химию), студенты и разные знакомые барышни.

Нередко приходила к нам с своей матерью и сестрой Александра Викторовна Лаврская, впоследствии жена Г. Н. Потанина. Она раза два—три в году приезжала с матерью и младшей сестрой, Антониной В., нанимала на месяц маленькую квартирку близ острога и чуть ли не ежедневно приходила в острог к своему брату Константину В. Это была барышня образованная, много читавшая,

и всякий раз принимала участие в наших прениях и беседах о тогдашних «злобах дня».

Это была та же университетская аудитория, мы доканчивали курс по социально-экономическим наукам.

Правда, изучение наук не отличалось строгой систематичностью, но, благодаря чтению и почти постоянным дебатам по тем или другим вопросам, мы приучались к строгому, логическому мышлению и более сознательному отношению к тем учениям, которые мы прежде принимали скорее на веру, чем по глубокому убеждению.

Глава тридцатая

СУДЬБЫ ИТАЛИИ

Меня чрезвычайно интересовали судьбы Италии. Ее цветущая литература и искусство в XIII и XIV веках, борьба итальянских коммун с аристократией за свою независимость сильно меня занимали. Эпоха Данте, Боккачио, Петрарки, когда уже борьба буржуазии с народом и гибеллинами была в полном ходу; изгнание из Флоренции Данте, борьба ciompi с буржуазией (popolani grassi) во Флоренции побудили меня заняться в тюрьме же изучением эпохи Данте и Боккачио [99].

Из университетской библиотеки я достал массу сочинений по занимавшему меня вопросу. В конце 1866 года я составил часть монографии под заглавием «Флоренция в XIV веке» и прочел своим товарищам в присутствии некоторых сторонних лиц. Впоследствии, по выходе из тюрьмы, я докончил это сочинение, воспользовавшись новыми источниками, вышедшими в свет в 70-х годах. В 1879 году статья эта была напечатана в двух книжках «Исторической Библиотеки», издаваемой Полежаевым.

Глава тридцать первая

„КРАСНОПЕРОВСКИЕ ПЛЕВЕЛЫ"

Матери моей я собрался написать письмо только в начале 1865 года, сообщая ей о своем здоровье и прося ее не горевать о моем положении. Для успокоения ее я уверял ее, что скоро приеду к ней. Уверенность эта, по правде сказать, была очень проблематична.

Через месяц я получил от нее письмо, которое, повидимому, было написано наугад (дьяконом, моим двоюродным братом, с которым я когда-то ездил в семинарию), адрес на конверте был довольно странный «В г. Казань, господиня полиц-маиору острога (это наш-то смотритель Зернов!) для передачи сыну несчастной матери такому-то».

Мать извещала меня, что она считала меня уже умершим и потому «много слез обо мне выплакала, два раза служила по мне панихиды и один раз заказывала даже заупокойную обедню по мне с вынутием частицы из просфоры за упокой раба божия Ивана». Только она ужасно боится теперь: не послужит ли к худу для меня ее служение панихиды?

Между прочим сообщала, что брата моего Петра исключили из семинарии «из-за меня». Инспектор семинарии сказал, будто бы: «Красноперовские плевелы нужно искоренить». Нет надежды получить ему место дьячка в Вятской губернии. «Петя хочет ехать в г. Уфу и там у преосвященного просить места. Ты знаешь мои достатки — жить мне нечем, а Петю жаль. Я продала свой дом за 40 рублей и отдала ему эти деньги. Сама переселилась жить в казенную (церковную) избу. Спасибо священнику нашему, отцу Василию: дал мне место просвирни».

Брат мой Петр был даровитый мальчик. Он много и до страсти любил читать. По всей вероятности, он мог бы иметь более светлое будущее, но благодаря мстительности инспектора (протоиерея), его судьба была несчастна. Он получил место дьякона сначала в Уфимской, а затем в Оренбургской губернии, и, женившись, спился из-за непутной жены.

Глава тридцать вторая

БЕГЛЕЦЫ

Тут произошел в нашей мирной жизни один весьма важный инцидент, который было совсем ухудшил наше привилегированное положение.

Дело в том, что долговременное сидение наше в четырех стенах показалось некоторым из товарищей бесконечно длинным, и они замыслили бежать из стен тюрьмы.

Наш приятель Ермолин, коротая с нами дни и ночи, уговаривал нас даже всех бежать.

— Да и я с вами убегу, господа. Чего вам сидеть тут? Может быть, и до старости будете киснуть здесь.

— Но куда убежим?—возражали мы ему.—Где найдем приют без денег?

— Проживете как-нибудь за границей уроками, переводами. Ведь некоторые из вас ремесла знают. С голоду не умрете.

Мы предпочли однако остаться, а двое из наших все-таки бежали за границу. Сначала бежал один Элпидин из пересыльной арестантской тюрьмы, а затем, спустя некоторое время, другой—Жеманов, медик студент III курса, живший в одной небольшой камере с другим студентом III курса того же факультета — Щербаковым [100].

Бежать было очень легко, не подвергаясь никакому риску.

По праздникам и будням к нам приходили из города гости, которых впускали караульные солдаты без счета. В одно из воскресений вечером Жеманов ушел из тюрьмы вместе с гостями. Его хватились только на другой день в 7 час. утра, когда происходила поверка всех арестантов.

Впрочем, караульные сначала не знали, из какой камеры бежал арестант, и первое время думали, что арестант ушел, вероятно, на другой двор, к другим арестантам, и потому стали искать Жеманова по всем камерам другого двора.

Когда караульный офицер окончательно убедился в исчезновении арестанта из политических, он дал знать о бегстве властям, а те сообразили, что бежавший арестант, хотя и политический, с радости непременно должен будет отправиться для выпивки в кабак или трактир,— значит, надо его искать в кабаках. Там солдаты и искали Жеманова.

Жеманов долго жил в Казани у кого-то из своих знакомых, прежде нежели решился уехать за границу в Швейцарию.

Для нас наступили тяжелые дни. Во-первых, нас всех заперли в камерах снаружи на замок, а во-вторых, от нас отобрали наше штатское платье и облекли в серые арестантские халаты с красными и желтыми тузами на спине. в третьих, караульные солдаты с офицером во главе нередко по ночам отпирали наши камеры и врывались к нам с обыском. Шарили в печах, выгребали оттуда на пол всю золу, стучали прикладами по кирпичным стенам, потолку, рылись под матрацами и проч.

— Зачем это вы делаете, господа? — в недоумении спрашивали мы бывало офицера и солдат.

— Подкопа или пролома где-нибудь в стене не сделано ли, чтобы вам бежать.

Помню, у меня под матрацем офицер нашел две географические карты, бережно свернул их и спрятал себе в боковой карман.

— Для чего вы взяли карты-то мои? — обратился я к офицеру. — Мне они нужны для занятий по истории и географии.

— Рассказывайте! Знаем мы ваши занятия! Это вы планы составляете, как лучше бежать.

Такие глупости проделывались караульными офицерами и солдатами месяца два. Затем нас по одиночке стали водить в арестантских халатах по городу к судебному следователю для допросов:

«С ведома или без ведома нашего бежал Жеманов?

Не знаем ли мы, как он убежал, и не помог ли ему кто-либо в бегстве?

Не слыхали ли мы, может быть: не думает ли еще кто-нибудь бежать из наших товарищей?»

На все эти наивные вопросы следователя мы, конечно, отвечали отрицательно. Толку из всего этого никакого не вышло, так как мы заранее все сговорились, что отвечать на допросе.

Из нашего двора сбоку стены вела каменная лестница в острожную церковь, расположенную над общими входными воротами. По праздникам мы ходили в церковь и становились в особое отделение, отгороженное от публики решеткой только с одной стороны до половины, а с другой совсем не отгорожено и потому весьма естественно городская публика свободно переходила в наше отделение.

После бегства Жеманова, тюремный смотритель распорядился в церковь нас не пускать. Знакомых наших, конечно, тоже никого не пускали.

Мы решили написать прошение губернатору, в котором доказывали, что «даже самый закоренелый преступник и убийца не лишен последнего религиозного утешения. Нас теперь не пускают в церковь, нам не дают возможности слушать божественную литургию» и т. д.

Губернатор в этом вопросе стал на нашу точку зрения и сделал смотрителю строгий выговор, говоря, что этак— «недопущением нас в церковь для молитвы можно сделать из нас неисправимых, нераскаянных преступников и атеистов, а между тем хождение в церковь может поддержать в нас бодрость духа и направить нас на путь истины»... И нам опять разрешили ходить по праздникам в церковь, опять мы стали видеться там со своими знакомыми.

А в конце концов, через полгода, нам возвратили наше платье, отперли камеры и разрешили даже ходить с конвоем в город для покупок провизии.

Глава тридцать третья

ПОД НАДЗОР ПОЛИЦИИ

В 1867 году, кажется, 14 августа, нас всех повели в 10 часов утра, по обыкновению с конвоем, в уголовную палату для об'явления приговора [101].

Нам еще накануне вечером смотритель об'явил «по секрету» по камерам, что завтра нас выпустят на волю. Это известие сильно взбудоражило наши нервы. Мы всю ночь напролет не спали, зажгли свечи и расставили их по окнам, точно в пасхальную ночь. Мы строили один другого смелее планы относительно будущей нашей деятельности; но, странно стказать, нам в то же время как-будто и жаль стало расставаться с насиженным местом.

особенно с цветочными клумбами и кустами, нами всхоленными, взлелеянными.

Рано утром мы пошли все в свой садик и там пили чай, полили в последний раз цветы...

Уже неделю спустя после нашего освобождения, мы зашли «в наш» двор и не нашли там ни одного кустика, ни одного цветочка: тюремное начальство сочло излишней эту роскошь для простых арестантов и все вырвало с корнем...

Из палаты нас выпустили однако не вдруг. Оказалось, что секретарь палаты пришел на службу, как и всегда, в простом сюртуке или пиджаке; а так как об'явление нам приговора последовало от «высочайшего имени», то и пришлось секретарю посылать домой сторожа за мундиром, на что потребовалось вместе с переодеванием около часа.

Нам торжественно об'явили все наши вины, за которые мы по закону подвергались самым тяжким наказаниям: каждому из нас грозили минимум 4-летние каторжные работы, а тяжесть моей вины, как значилось в об'явлении приговора, могла искупиться только 8 годами каторжной работы в крепостях; но в конце концов были приняты во внимание «молодость лет», «увлечение» и долговременное наше сидение в тюрьме, — и нас простили. Прощение всех наших вин не было, впрочем, полное: мы должны были находиться в течение трех лет под надзором полиции [102].

Выйдя из палаты на улицу, мы толпой остановились и обсуждали план наших дальнейших действий.

В городе никого почти не было знакомых; студенты-товарищи все уже кончили курс и разбрелись по местам, а между тем надо было куда-нибудь направиться для отыскания себе, во-первых, пристанища, а во-вторых, и средств существования.

Сборище наше заметил полицеймейстер Мосолов и подошел к нам:

— Господа, нельзя ли вам разойтись?.. Собираться скопом нехорошо.

— Мы сейчас уйдем, только обсудим, куда итти.

— Ну, хорошо, только недолго. Да зайдите, пожалуйста, в полицию, ну хоть на-днях, виды на жительство получить. Или кого-нибудь одного пошлите,—я выдам всем.

— Зайдем.

Всем кагалом направились мы в Старую Горшечную улицу и наняли общую квартиру, которую назвали главным штабом.

Через два дня получаем от полицеймейстера записку следующего содержания:

«Г. начальник губернии покорнейше просит г. Полиновского с товарищами пожаловать к нему завтра в час дня».

Начальник губернии был тот самый Скарятин, который, как мы узнали из газет того времени, прославился потом поркой татар за «самовольный переход их из православия в магометанство», а затем, благодаря этой вразумительной мере, — обратно из магометанства в православие. Скарятин принял нас в зале и сказал следующую фразу, так и оставшуюся для нас непонятной:

— Надеюсь, господа, что синего пороху между нами не будет? Да?

— Конечно, не будет, — сказали мы наобум.

— Так до свиданья.

— До свиданья.

Один по одному мы все разбрелись по разным местам. Некоторые из моих товарищей сошли уже теперь в могилу...

ПРИМЕЧАНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] И. М. Красноперов получил первоначальное образование в четырехклассном духовном училище в г. Елабуге, которое окончил в 1856 г.

[2] Устрялов, Николай Герасимович (1805—1870).—Историк, профессор петербургского университета, написавший между прочим учебник русской истории для средней школы, бывший в большом ходу в гимназиях и семинариях до эпохи 60-х годов.

[3] Личность так называемого Лже-Дмитрия, завладевшего в 1605 г. московским престолом и выдававшего себя за чудом спасшегося от руки убийц сына царя Ивана Грозного, Дмитрия, до сих пор окончательно не установлена. По некоторым сведениям это был беглый монах Чудова монастыря в Москве Григорий Отрепьев. После 11-месячного царствования Лже-Дмитрий был убит боярами.

[4] Витберг, Александр Лаврентьевич (1787—1855).—Известный архитектор, строивший в Москве на Воробьевых горах грандиозный храм в память о войне с французами 1812 г. За различные злоупотребления при постройке Витберг был выслан по распоряжению Александра I в Вятку, хотя сам Витберг в злоупотреблениях и был неповинен.

[5] Эли Берте—французский третьестепенный беллетрист.

[6] Дюма, Александр (1803—1870).—Известный французский романист, автор громадного количества романов авантюрного типа, наиболее популярными из которых являются „Три мушкетера" и „Граф Монтекристо".

[7] Диккенс, Чарльз (1812—1870).—Знаменитый английский беллетрист, один из основателей реального романа.

[8] Жорж Занд (1804—1876).—Известная французская романистка, отстаивавшая в своих произведениях свободу чувства и освобождение женщины от ига буржуазной семьи. Жорж Занд находилась под большим влиянием идей утопического социализма. „Проступок г. Антуана"—один из ее романов, на котором сильно сказалось это влияние.

[9] Толстой, Лев Николаевич (1828—1910).—Знаменитый русский писатель и моралист, литературная деятельность которого начиналась в те годы, к которым относятся воспоминания Красноперова. Во время войны 1854—1856 гг. Толстой, бывший офицером, участвовал в обороне осажденного турецкими, английскими и французскими войсками Севастополя. „Военные рассказы" Толстого печатались в 1852—1855 гг.

[10] „Битва русских с кабардинцами" и „Гуак или рыцарская любовь"—повести „для народа", пользовавшиеся большим распространением в первой половине XIX века.

[11] Фонвизин, Денис Иванович (1745—1792).—Известный писатель, автор двух знаменитых комедий „Недоросль" и „Бригадир", которые и имеются в виду Красноперовым.

[12] Поль-де-Кок, Шарль (1794—1871).—Французский бульварный романист, произведения которого усердно переводились на русский язык в 40-е и 50-е годы и вследствие своей занимательности пользовались значительным распространением.

[13] Красовский, Александр Александрович—сын священника, по окончании в 1853 г. петербургской духовной академии был преподавателем в вятской духовной семинарии. В 1863 г. арестован по делу о Казанском заговоре. Впоследствии открыл в Вятке книжный магазин и типографию, закрытые правительством в 1874 г. вследствие привлечения Красовского к делу о революционной пропаганде.

[14] Салтыков, Михаил Евграфович (1826—1889).—Знаменитый сатирик, в 1848 г. был выслан в Вятку за напечатанную им в этом году повесть „Запутанное дело". В Вятке Салтыков пробыл до 1855 г. и служил чиновником в губернском правлении. Наблюдения за жизнью и нравами вятской администрации дали Салтыкову материал для его знаменитых „Губернских очерков", напечатанных впервые в журнале „Русский Вестник" в 1856 г.

[15] Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852).—Знаменитый беллетрист, главное произведение которого, напечатанное в 1842 г., „Мертвые Души", содержало в себе широкую картину русской жизни в крепостную эпоху.

[16] Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791—1859).—Известный беллетрист. „Семейная хроника"—его воспоминания, дающие весьма яркое изображение помещичьей жизни в начале XIX века.

[17] „Детские годы Багрова внука"—воспоминания известного беллетриста Сергея Тимофеевича Аксакова (1791 — 1859), служащие продолжением его „Семейной хроники".

[18] Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899).—Беллетрист приобревший себе известность появившейся в 1847 г. повестью „Антон Горемыка", которая вызвала большой интерес среди читателей, как одна из первых в нашей литературе повестей из крестьянской жизни.

[19] Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883).—Знаменитый беллетрист, автор романов „Рудин", „Дворянское гнездо", „Накануне", „Отцы и дети", „Дым", „Новь". В то время, к которому относятся воспоминания Красноперова, литературная деятельность Тургенева только что начиналась и из крупных произведений появились лишь „Записки охотника" (серия очерков и рассказов отчасти из крестьянской жизни) и роман „Рудин".

[20] Потехин, Алексей Антонович (1829—1908).—Беллетрист и драматург, автор ряда произведений из крестьянской жизни.

[21] Дружинин, Александр Васильевич (1824—1864).—Известный беллетрист и литературный критик. Из беллетристических его произведений наибольшим успехом пользовалась появившаяся в 1847 г. повесть „Полинька Сакс".

[22] „Русский Вестник" — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве с 1856 г. М. Н. Катковым. В первые годы своего существования „Русский Вестник" был органом либерального дворянства, но постепенно правел и в начале 60-х годов перешел окончательно в лагерь реакции.—„Современник"—журнал, издававшийся в Петербурге Н. А. Некрасовым; в конце 50-х и в начале 60-х годов это был наи-

более радикальный из русских журналов; ближайшее участие в нем принимали Чернышевский и Добролюбов. — „Библиотека для чтения" — петербургский журнал, с 1856 г. редактировавшийся А. В. Дружининым; этот журнал не имел определенного направления и был приноровлен к вкусам обывательской массы.

[23] Грановский, Тимофей Николаевич (1813—1855).—Профессор московского университета, историк либерального направления, автор, пользовавшийся громадной популярностью среди слушателей.

[24] Прескотт, Вильям (1796—1859).—Американский историк, автор переведенной на русский язык „Истории Нидерландов".

[25] Маколей, Томас (1800—1859), известный английский историк, автор переведенной на русский язык в начале 60-х годов „Истории Англии".

[26] Казеннокоштными назывались воспитанники, получавшие все содержание от казны.

[27] Четьи-минеи — церковная книга, заключающая в себе собрание житий святых.

[28] „Песнь песней" — эротическая поэма, входящая в состав библии.

[29] О „Записках охотника", см. примечание 19.

[30] Леонтьев, Павел Михайлович (1822—1875).—Филолог, профессор московского университета, в конце 50-х годов издавал сборники исторических и историко-литературных статей „Пропилеи".

[31] Шлоссер, Фридрих (1776—1861).—Известный немецкий историк. Его работы „История XVIII столетия" и „Всемирная история" были переведены на русский язык.

[32] Кудрявцев, Петр Николаевич (1816—1858).—Историк, профессор московского университета. Его работа „Римские женщины" содержит в себе ряд художественно написанных картин из жизни римского общества времен империи.

[33] „Кто виноват"—роман Герцена, напечатанный в 1845 г. и посвященный защите свободы любви и протесту против угнетенного положения женщины в браке. „Письма об изучении природы" — статья Герцена, напечатанная в 1845—1846 гг. и доказывавшая необходимость тесной связи науки с жизнью.

[34] Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881).—Знаменитый беллетрист. „Бедные люди" и „Неточка Незванова"—одни из ранних его произведений, изображающие судьбу несчастных забитых людей и написанные под влиянием идеи утопического социализма, влияние которого в 40-е годы испытал на себе Достоевский.

[35] Добролюбов, Николай Александрович (1836—1861).—Знаменитый литературный критик, один из основателей школы реальной критики, доказывавший необходимость при оценке художественных произведений устанавливать степень соответствия их с жизненной правдой.

[36] Якушкин, Евгений Иванович (1826—1905).—Известный этнограф в своем библиографическом указателе „Обычное право" упоминает об одной статье Красноперова, относящейся ко времени его ученичества: „Крестьянские свадьбы в Елабужском уезде" („Вятские Губ. Ведомости", 1860 г. №№ 22—24).

[37] Патристика — отдел богословской науки, заключающий в себе обзор жизни, учения и сочинений учителей церкви.

[38] Cogito—ergo sum (Я мыслю—следовательно, я существую) — основное положение учения французского философа Декарта (1596—1650), направленное против скептицизма.

[39] Гегель (1770—1831).—Знаменитый немецкий философ. Гегель исходил от признания, что все существующее в мире материальном и духовном есть развитие и проявление вечного абсолютного духа, при чем развитие это совершается диалектическим путем, исходя от тезиса (положение) через антитезис (противоположение) к синтезису (соединение), в котором конечный момент развития сближается с начальным. Философия Гегеля оказала большое влияние на Маркса, который, заимствовав у Гегеля его учение о диалектическом развитии, освободил его от гегелевского идеализма.

[40] Островский, Александр Николаевич (1823—1886).—Знаменитый драматург, прославившийся изображением купеческого быта своего времени. „Доходное место"—его комедия, напечатанная в 1857 г., из быта купцов.

[41] Воскресные школы, начавшие возникать в России с 1859 г. и быстро распространившиеся не только по городам, но кое-где даже по сельским местностям, ставили своею задачею бесплатное обучение ремесленников, рабочих, крестьян и их детей грамоте и преподавание им элементарных начал науки. Молодежь того времени чрезвычайно увлекалась преподаванием в этих школах. В июне 1862 г. в виду раскрытой в одной из петербургских воскресных школ революционной пропаганды школы эти по распоряжению правительства были повсеместно закрыты.

[42] Курочкин, Василий Степанович (1831—1875).—Известный сатирический поэт и переводчик, с 1859 по 1871 г. издавал сатирический журнал „Искра", пользовавшийся большой популярностью и зло высмеивавший злоупотребления тогдашней администрации.

[43] Добролюбов, страдавший туберкулезом, поехал за границу в июне и возвратился в августе 1860 г.

[44] Обручев, Владимир Александрович (1836—1912).—Поручик, сотрудник „Современника". В октябре 1861 г. был арестован за распространение воззваний „Великорусс". Изданные организацией, состав которой остается до сих пор неизвестным, три номера „Великорусса" выдвигали программу либеральных преобразований. Требования „Великорусса" сводились к передаче крестьянам помещичьей земли, которой они пользовались до отмены крепостного права, к созыву депутатов для выработки конституции и к признанию за Польшей права на отделение от России. Обручев был приговорен к каторжным работам на 3 года; впоследствии—генерал-майор.

[45] К этому времени относится интересное письмо, посланное Красноперовым Н. Г. Чернышевскому. Письмо это опубликовано Н. М. Чернышевской-Быстровой в № 7 „Каторги и Ссылки" за 1928 г. Вот его текст:

„Милостивый государь

Н. Г.

Уверенность, что вы не будете обвинять меня за то, что я прямо, не зная вас, обращаюсь к вам с просьбою и за советами, побуждает меня высказаться пред вами искренно и откровенно.

Скажу наперед: я вятский семинарист, сын сельского причетника.

Давно уже я лелею мысль поступить в Петербургский университет и не знаю, каким бы образом мне осуществить эту мысль, мне, не имеющему никаких средств.

Семинария мне ужасно опротивела, я не могу прожить в ней ни одного дня без того, чтобы не оскорбляли меня на каждом шагу, и все это так пошло, так гадко, что я считаю для себя даже позором называться семинаристом. Думал было ныне держать экзамен в здешней гимназии, прихожу к директору с прошением, прося у него позволения явиться на экзамен; но он мне отвечал, что он принять меня на экзамен готов, но что экзамен у них ведь строг и пр. и пр...

Боже мой! Скоро ли мы уж дождемся того времени, когда эти экзамены пошлют у нас к чорту!..

А между тем, мне очень и очень хочется заниматься серьезно, я бы предался этим занятиям всей душой, хотя бы и пришлось мне для этого рисковать собственным здоровьем, лишь бы только меня не теснили. Во всяком случае, я решился ныне же итти пешком в Петербургский университет. Не знаю, открыт ли и откроется ли он к началу следующего курса.

Долго думал я о том, к кому бы мне обратиться за советами; один мне говорит то, другой — другое. Здешний библиотекарь Александр А[лександрович] Красовский советовал мне даже остаться в семинарии и примириться со всем.

Легко сказать — п р и м и р и т ь с я!..

Как можно примириться с пошлою семинарской рутиной, с этим беспутным семинарским начальством, не утратив чувства собственного достоинства, всего своего нравственного существа и не превратившись наконец в полуживотного?

Я решился писать к вам, Н. Г. Обращаюсь к вам именно потому, что вы знакомы мне по своим благородным статьям. Больше ничего говорить не буду... Ведь всякий из молодых людей испытал сам на себе, сколько он обязан „Современнику".

Прошу вас, умоляю вас написать мне одно слово: можно ли найти какие-нибудь средства, чтобы проучиться в Петербургском университете, не умерев с голоду.

В Петербург меня тянет уже давно; там литературный и политический центры... Я готов быть кондиционером (пожалуй, хоть и корректором при каком-нибудь журнале или газете), готов наконец поступить к какому-нибудь барину в лакеи, — лишь бы мне можно было только слушать университетские лекции и заниматься как следует.

Не имея средств, я, конечно, должен буду отправиться в путь в первых числах июля, чтобы мне можно было бы дойти до Петерб[урга] в конце августа.

Поэтому, я прошу вас, Н. Г., со слезами ответить на мое письмо хоть двумя словами поскорее, например, к 5 ч. июля или ранее, если можно.

Каков бы ни был ваш ответ — благоприятный или неблагоприятный для меня, во всяком случае я иду пешком.

Лучше же умирать в дороге, в университете, везде, где угодно, лишь бы не в семинарии.

Тяжело, ужасно тяжело оставаться в семинарии, и тысячу раз несчастны те, которые учатся в семинариях.

Прошу вас адресовать ко мне так:

Ученику Вятской семинарии, среднего отделения, Ивану М. Красноперову (чрез библиотеку Красовского).

Уважающий Вас семинарист И. Красноперов.

1862 года, июня 8 дня".

[46] Огарев, Николай Платонович (1813—1877).—Известный поэт и публицист. В 1856 г. Огарев эмигрировал из России и, поселившись в Лондоне вместе со своим другом Герценом, стал участвовать в издававшихся Герценом журналах „Полярная Звезда" и „Колокол".

[47] Фейербах, Людвиг (1804—1872).—Известный немецкий философ. „Сущность христианства" — одно из главных его произведений; в нем, исходя из отрицания всего сверхчувственного, Фейербах дал критику как христианства, так и религии вообще, которую он считает иллюзией человеческого ума, склонного обожествлять свои чувства и помыслы; человек, — доказывал Фейербах, — творит божество по своему подобию. „Сущность христианства" долгое время была

запрещена в России; в 60-х годах в литографированном и рукописном виде она получила у нас большое распространение в качестве „нелегальщины".

[48] Державин, Гавриил Романович (1743—1818).—Поэт, произведения которого оказали большое влияние на развитие русской поэзии, но в настоящее время имеют только историческое значение; в Казани ему поставлен памятник, как уроженцу этого города.

[49] 16 апреля 1862 г. известный историк профессор Казанского университета Афанасий Порфирьевич Щапов (1830—1876), пользовавшийся громадной популярностью среди казанского студенчества, на устроенной студентами демонстративной панихиде по крестьянам, убитым войсками при зверском подавлении волнений, вспыхнувших в с. Бездне, Казанской губ., произнес речь, закончив ее возгласом: „Да здравствует демократическая республика!" Щапов был после этого арестован, лишен кафедры и приговорен к 2-недельному аресту.

[50] Осокин, Николай Алексеевич (1835—1895).—Профессор всеобщей истории Казанского университета, был человеком реакционного направления.

[51] „Атеней"—журнал, выходивший в 1858—1859 гг. в Москве под редакцией Е. Ф. Корша, орган либеральной буржуазии.—„С.-Петербургские Ведомости"—умеренно либеральная газета, выходившая 1851—1862 г. под редакцией Очкина.

[52] Утверждение Краснoперова о том, что ко времени его поступления в университет „подпольной литературы еще не существовало", не вполне соответствует действительности. Не говоря уже про большое количество литографированных изданий, которые еще в 1859 г. начали издаваться в Москве кружком студентов, к этому времени появился ряд печатных прокламаций: три номера листка „Великорусс", воззвание „К молодому поколению" Н. В. Шелгунова и М. И. Михайлова, „Молодая Россия" Заичневского и несколько других более мелких.

[53] Герцен, Александр Иванович (1812—1870). — Знаменитый русский социалист, основоположник народничества, эмигрировавший в 1847 г. из России. Основал в Лондоне вольную русскую типографию,

в которой начал печатать различные запрещенные в России революционные произведения. С 1857 г. Герцен стал выпускать журнал „Колокол", получивший большое распространение в России. Смелые обличительные статьи и корреспонденции „Колокола" находили себе много читателей в России. Популярность „Колокола", как и самого Герцена, в русских революционных кругах начала падать с 1861 г., когда Герцен, не терявший надежды склонить правительство к реформам, открыто выступил против стоявших на последовательно революционном пути Чернышевского и Добролюбова.

[54] С начала царствования Александра II студенчество русских университетов, пользуясь либеральным направлением правительственной политики, стало устраивать различные организации, призванные обслуживать их корпоративные нужды: кассы взаимопомощи, библиотеки, товарищеские суды и т. п. До 1861 г. правительство терпимо относилось к этим студенческим вольностям.

[55] Елисеев, Григорий Захарович (1821—1891).—Известный публицист, народник, сотрудник „Современника", в 1863 г. редактировал газету „Очерки" радикального направления. Газета эта просуществовала лишь в течение четырех месяцев.

[56] Решетников, Федор Михайлович (1841—1871).—Беллетрист-народник, в своей повести „Подлиповцы" изображал быт крестьянства глухих уголков Пермской губернии. Герои Решетникова отличались чрезвычайной забитостью, невежеством, низким уровнем своих потребностей и некультурностью. Яркое по реализму изображение быта таких крестьян обратило на произведения Решетникова внимание читателей и критики того времени.

[57] Красноперов имеет в виду вступительную лекцию, прочтенную Щаповым в Казанском университете 11 ноября 1860 г., в которой он говорил о значении „областного элемента" в русской истории, о вековой борьбе его с централизующей силой государства и о необходимости при изучении русской истории сосредоточиться на изучении областного элемента, которому принадлежит большая роль и в будущей жизни России. Лекция эта произвела громадное впечатление на слушателей. Один из них, будущий товарищ Краснопе рова по казанскому процессу, К. В. Лаврский, в своих воспоминаниях так рисует отношения студентов к Щапову после этой речи: „С этих

пор Щапов сделался идолом студенческой массы: по крайней мере месяц ажитация в среде студентов не могла улечься... Одно время во всем городе только и речи было, что о Щапове, а о студентах и говорить нечего; они ходили как ошалелые от восторга". Воспоминания Лаврского напечатаны в изданном в 1876 г. в Казани сборнике „Первый шаг".

[58] Красноперов был обыскан и арестован 19, а не 17 марта 1863 г. Повод для ареста был следующий. В начале марта один из членов казанского студенческого кружка Ив. Яков. Орлов отправился из Казани для пропаганды среди крестьян. Он намеревался обойти Вятскую, Оренбургскую, Уфимскую и Пермскую губернии, а вслед затем перебраться в Сибирь. И. М. Красноперов снабдил Орлова рекомендательными письмами в Вятку к своему двоюродному брату семинаристу Егору Ивановичу Красноперову, к А. А. Красовскому и к священнику Чеснокову. По приезде в Вятку Орлов, не застав Красовского, оставил письмо Красноперова вместе с прокламациями у него в библиотеке и, повидавшись в семинарии с Е. Красноперовым, вручил ему письмо двоюродного брата и ряд прокламаций. В виду того, что Орлов навлек на себя подозрение местной полиции в распространении прокламаций, у Е. Красноперова и в библиотеке Красовского были произведены обыски. Найденные при этом письма И. М. Красноперова послужили поводом к его аресту.

[59] У Красноперова была найдена прокламация „Свобода", изданная в 1862 г. Центральным Комитетом тайного общества Земля и Воля. Прокламация эта была переписана от руки им самим. На допросе он показал, что переписывал ее с экземпляра, вывешенного неизвестным ему лицом в университете в студенческой курительной комнате.

[60] Прокламация была обнаружена лишь после того, как Красноперов со всеми его бумагами был доставлен в Вятку. Этот эпизод вызвал неприятную для казанского полицеймейстера переписку между вятской и казанской администрацией.

[61] В тексте своих воспоминаний Красноперов не вполне точно передает содержание своего письма к Красовскому. Мы сочли необходимым дать точный текст этого письма, заимствованный из следственного дела Красноперова и его товарищей. Аналогичным

было содержание и двух других писем, врученных И. М. Красноперовым Орлову. В письме к Е. И. Красноперову было прибавлено, что „молодежи вообще сидеть сложа руки в настоящее время не благородно". В письме же к свящ. Чеснокову говорилось о том, что он, как священник, „может принести много пользы крестьянам посредством своих проповедей" и что „он вообще должен быть готов к великому делу обновления России".

[62] При допросе 21 марта 1863 г. в Вятской следственной комиссии И. М. Красноперов на вопрос, с к е м б ы л и о т п р а в л е н ы и м п и с ь м а к Красовскому и Е. Красноперову, отвечать отказался, заявив: „Считаю бесчестным выдавать товарища; шпионство дело слишком низкое и недостойное сколько-нибудь порядочного человека". При этом Красноперов добавил, что слово „апостол" упомянуто в письме потому, что человек, взявший на себя эту роль, хотел итти по разным местам, имея в виду благо народа. 30 же марта Красноперов после настойчивых требований следственной комиссии показал: „Письмо, писанное мною на имя Красовского от 7 февраля 1863 г., было послано с Василием Соловьевым, с которым я познакомился в Казани и виделся с ним в разных местах. О себе Соловьев говорил, что будто он был когда-то вольнослушателем университета. Происходит, кажется, из купеческого звания, Пензенской губ., от роду около 27 лет... (Далее Красноперов описывает приметы мнимого Соловьева. *(Б. К.)* Письмо было просто рекомендательное".

[63] „Ч т о д е л а т ь" — роман Н. Г. Чернышевского, писанный им в крепости и напечатанный в 1863 г. в „Современнике". Роман этот был посвящен проповеди новой жизни, построенной на началах разумного эгоизма, и социалистического преобразования общественных отношений.

[64] Т и м а ш е в, Александр Егорович (1818—1893).—С 1856 г. состоял управляющим III отделением. После раскрытия казанского заговора в мае 1863 г. он был назначен временным генерал-губернатором Казанской, Пермской и Вятской губерний. Для расследования дела о казанском заговоре в Казани по высочайшему повелению была учреждена особая следственная комиссия; председателем ее был не Тимашев, как сообщает Красноперов, а действительный тайный советник Жданов. Впоследствии (с 1868 г.) Тимашев был министром внутренних дел.

[65] Орлов, Павел Павлович—студент Казанского университета был арестован в 1863 г. в связи с делом о „казанском заговоре", но по недостатку улик освобожден.

[66] Об Иване Я. Орлове см. примечания 58, 88, 90, 91, 95.

[67] Щербаков, Алексей Яковлевич—сын эсаула Астраханского казачьего войска, по окончании гимназии в Астрахани поступил в Казанский университет. В 1863 г. арестован по делу о казанском заговоре и в 1866 г. бежал за границу. В 1880 г. получил разрешение вернуться в Россию.

[68] Жеманов, Семен Яковлевич—сын казанского мещанина, род. в 1836 г. В мае 1863 г. арестован по делу о казанском заговоре. В 1866 г. бежал за границу, где участвовал в революционных журналах. Впоследствии профессор политической экономии в Невшателе. Умер в 1903 г.

[69] Полиновский, Владимир Михайлович—отставной коллежский регистратор, арестован в мае 1863 г. по делу о казанском заговоре. Впоследствии служил в Вятской казенной палате.

[70] Алеев, Петр—из дворян Астраханского казачьего войска. В мае 1863 г. арестован по делу о казанском заговоре. Впоследствии присяжный поверенный в Астрахани.

[71] Сергеев, Александр Семенович—сын обер-офицера, 18 апреля 1863 г. арестован по делу о казанском заговоре.

[72] Бирюков, Аркадий Афанасьевич—сын дьякона, род в 1840 г. в Шадринском уезде; по окончании духовной семинарии в Перми поступил в Казанский университет. В 1863 г. был арестован по делу о казанском заговоре. Впоследствии сотрудничал в казанских газетах Умер в 1881 г.

[73] Лаврский, Константин Викторович—сын священника, род. в 1844 г. в г. Горбатове. По окончании гимназии в Нижнем-Новгороде поступил в Казанский университет. В мае 1863 г. арестован по делу о казанском заговоре. В 70-х годах занимался литературной

деятельностью, сотрудничая в казанских и столичных газетах и журналах. В 1872 г. выслан из Казани в Вологодскую губернию за пропаганду среди учащейся молодежи. Впоследствии присяжный поверенный в Казани и член I государственной думы фракции трудовиков. Умер после 1917 г.

[74] Миттерман, Рудольф Рудольфович—сын майора, в 1863 г. арестован по делу о казанском заговоре.

[75] Пеньковский, Иван Дмитриевич—сын священника, уроженец г. Мамадыша, окончил Казанский университет. В 1863 г. жил в Казани на одной квартире с Элпидиным и был арестован в связи с обыском, произведенным у последнего. За хранение запрещенных сочинений и за составление прокламации с призывом к восстанию приговорен сенатом к тюремному заключению на 1 год и 4 месяца с воспрещением по освобождении въезда в столицы. В 1868 г. арестован в Петербурге и за сношения с Элпидиным выслан в Казань. Впоследствии сотрудничал в казанских газетах.

[76] Элпидин, Михаил Константинович—сын дьякона, уроженец Лаишевского уезда. Окончив Чистопольское духовное училище, служил в казанском уездном суде. В 1860 г., выйдя в отставку, поступил вольнослушателем в Казанский университет. За участие в студенческих волнениях 1861 г. был уволен из университета и выслан на родину. 29 апреля 1863 г. арестован в Казани за распространение прокламаций в Лаишевском уезде. В 1865 г. бежал за границу и, поселившись в Женеве, основал русскую типографию. Был членом женевской секции I Интернационала. Умер в 1908 г.

[77] Дернов, Василий Васильевич—сын священника, по окончании духовной семинарии был сельским учителем. Арестован в апреле 1863 г. по делу о казанском заговоре за распространение прокламаций среди крестьян.

[78] Красноперов, Егор Иванович—сын дьякона, уроженец Вятской губернии, ученик вятской духовной семинарии. В 1863 году арестован по делу о казанском заговоре. В 1870 г. за сношения с пропагандистами выслан из Вятки в Костромскую губернию. Впоследствии работал статистиком в Перми. Умер в 1897 г.

[79] Булгаков, Степан Васильевич — мещанин г. Лаишева, арестован в 1863 г. за распространение среди крестьян прокламаций, полученных им от Элпидина. Казанской уголовной палатой приговорен к каторжным работам на 4 года. Сенатом и государственным Советом этот приговор был утвержден. Царем срок каторжных работ был сокращен наполовину.

[80] Кроме названных Красноперовым лиц, в состав следственной комиссии входили чиновник министерства юстиции Афанасенко и казанский жандармский полковник Ларионов.

[81] Уставными грамотами назывались акты, составлявшиеся после отмены в 1861 г. крепостного права по соглашению крестьян и помещиков относительно отходящих к крестьянам земли и угодий и повинностей, лежащих на них по отношению к помещикам.

[82] В данном случае Красноперов сознательно уклоняется от действительности. Эпизод с ружьями играл в деле второстепенную роль, и следственная комиссия особого значения ему не приписывала. В предисловии нами рассказано о том, что попытка произвести в Казани вооруженное восстание действительно имела место.

[83] Паника, охватившая население Казани и особенно казанскую администрацию, засвидетельствована архивными материалами. Командированный в Казань для участия в расследовании дела о „казанском заговоре" М. Нарышкин в письме от 30 апреля 1863 года сообщал III отделению, что, хотя казанский губернатор и полицеймейстер и отзываются успокоительно о состоянии губернии, тем не менее они сочли нужным принять особые меры для охранения своей безопасности. „Например: у губернатора встретилась необходимость иметь под рукой постоянно 12 казаков, по городу стали ходить патрули, разъезды, из излишнего рвения усердно останавливающие прохожих, приглашая их в полицию. Начальник дивизии генерал Скалон поставил у себя целый караул из 8 человек рядовых при полной боевой аммуниции, при барабанщике и горнисте". То же происходило и в г. Спасске, где солдатам было приказано ходить в полной аммуниции даже к обеду и ужину. Под влиянием этих мер казанские и спасские обыватели, по словам Нарышкина, „встревожились до такой степени, что многие стали собирать и укладывать свои пожитки, готовясь выезжать — куда, не знаю".

[84] Петров Антон — руководитель крестьянского восстания в 1861 г. в селе Бездна, Казанской губ. По приговору военно-полевого суда Петров был расстрелян 17 апреля 1861 г., а не в 1862 г., как пишет Красноперов.

[85] Иваницкий, Наполеон-Казимир Людвигович—штабс-капитан, поляк, дворянин Волынской губ., родился в 1835 г. В 1852 году поступил в военную службу и в 1854 г. произведен в офицеры. 29 апреля 1863 г. Иваницкий был арестован в г. Спасске, Казанской губ., по делу о казанском заговоре. По приговору военно-полевого суда 6 июня 1864 г. расстрелян в Казани.

[86] Мрочек, Александр—поручик, поляк, арестован в мае 1863 г. по делу о казанском заговоре и по приговору военно-полевого суда расстрелян одновременно с Иваницким.

[87] Станкевич, Ромуальд Ильич—подпоручик, поляк. Привлеченный в мае 1863 г. к делу о казанском заговоре Станкевич успел скрыться, но в феврале 1864 г. был арестован в Могилевской губ. По приговору военно-полевого суда, расстрелян одновременно с Иваницким и Мрочеком.

[88] Красноперов сознательно умалчивает о многих обстоятельствах, сопровождавших сближение Иваницкого со студентами, хотя, как мы убедимся ниже, о многом он и сам не знал, в виду того, что был арестован раньше других товарищей своих по делу. Получив от Черняка поручение разведать, насколько возможно подготовить восстание в Казани, Иваницкий начал сближаться с местными студентами. Для этой цели он устроил два собрания на квартире своего знакомого вольнослушателя Карпова, на которых, кроме Карпова, присутствовали студенты Бирюков, Лаврский и Красноперов. На этих собраниях Иваницкий рассказывал студентам о революционных организациях, существующих в России, и о восстании, которое, по его словам, должно начаться весною 1863 г. Красноперов в своих показаниях в следственной комиссии так рассказывал об этих собраниях:

„Иваницкий говорил много и бойко. Сначала он говорил о своем участии в Крымской кампании, потом распространялся о том, что его любят все солдаты, говорил о стрельбе из ружей, о том, что в Ижевском заводе он надеется получить 20 тысяч ружей... Из его слов

можно было заключить, что он готовится к какому-то восстанию и потому желал привлечь на свою сторону молодых людей из студентов. И все это говорил хладнокровно, равнодушно, как-будто собирался охотиться на зверей. Из этого разговора я вынес тяжелое впечатление.

Когда пришел домой и лег спать в постель, то всю ночь не мог заснуть и весь дрожал.

В другой раз... Иваницкий сидел и держал пред собой огромную карту Казанской губ. „Вот я думаю изучить хорошенько местность Казанской губернии", — сказал он, когда мы вышли.

На этот раз разговор вертелся почти на том же, на чем и в первый раз.

Я не понимал, как он найдет себе приверженцев.

Рассказывал также Иваницкий на этом собрании о своих беседах с солдатами и крестьянами. „Возьму, — говорит, — несколько одинаковых горошин, поставлю их в ряд, стоящую на первом месте назову царем, на втором — министром, генералом и т. д. Потом каждого солдата спрашиваю: „Где царь?" — „Вот, первой, ваше благородие" — отвечает солдат. — „Где министр?" — „А вот другой, после царя". — Наконец я возьму все эти горошины и перемешаю, а потом велю каждому солдату отгадывать, где царь, министр и проч. — „Не могим знать",—отвечали солдаты.

Отсюда он им делал такое заключение: „Покуда все цари и министры поставлены по порядку, все им кланяются, почитают их выше себя, а как перемешать их всех, тогда разницы между ними и простыми людьми не будет, и все будут равны".

Так Иваницкий подготовлял молодежь к задуманному восстанию. Вскоре он стал говорить о своих планах более определенно, но Красноперов на этих собраниях уже не присутствовал. В середине марта, когда в Казань приехал Черняк, Иваницкий познакомил его со студентами, рекомендовав последним Черняка, как агента московского революционного комитета, в подтверждение чего Черняк показывал студентам клочок бумаги, на котором было написано: „Предъявителю сего верить. Бакунин". На собраниях, происходивших с участием Черняка, вопрос о восстании был поставлен открыто. Черняк говорил, что в виду восстания, начавшегося в Польше, и стягивания туда войск, а также в виду недовольства крестьян реформой 19 февраля 1861 г., необходимо как можно скорее поднять восстание и внутри России. Оно должно начаться с Казанской губ., как самой удобной в стратегическом отношении; отсюда оно распространится по Волге, перекинется на Урал и Дон, а с Дона его направят так, чтобы оно

соединилось с восстанием в Польше. Начинать восстание нужно до начала полевых работ, пока не собрали солдат для учения. Более конкретный план восстания изложил студентам Иваницкий. Студент Сергеев при допросе в следственной комиссии так передавал план Иваницкого:

„Забрать Казань очень легко. Для этого стоит только обезоружить солдат, находящихся в городе, а это ничего не стоит. В самом деле: у каждой казармы стоят по два человека, — один внутри, другой снаружи. Стоит только убить этих часовых, и спящие солдаты не услышат, как из казарм унесут ружья. Затем можно выпустить из тюрем арестантов... Захватив из казарм ружья, нужно в ту же ночь забрать казначейство, и тогда Казань в наших руках. Взять же сначала ее необходимо потому, что это произведет сильное нравственное влияние на народ, который скажет тогда, что если уж Казань взята, то значит сила... Забрав Казань, сейчас же разослать людей по деревням, чтобы там вооружались, кто косой, кто чем попало, и чтоб шли в Казань. Если нас вытеснят из Казани, то мы без всякого препятствия отступим к уральским заводам, а там такая местность, что и сам чорт не сыщет". В разговоре со студентами Черняк между прочим упомянул о том, что он рассчитывал поднять народ на восстание при помощи подложного царского манифеста, в котором крестьянам обещаны земля и разные права. Этот план Черняка не понравился студентам. Они заявили, что если и согласны принять участие в восстании, то распространять среди крестьян будут не подложный манифест, а заготовленную ими самими прокламацию „Долго давили вас, братцы". Кроме этого, они потребовали присылки из Москвы от революционного комитета людей, оружия и денег, необходимых для начала восстания. После этого Черняк уехал из Казани.

В середине апреля в Казань приехал студент петербургского университета Сильванд, назвавшийся Остсенковским. Он привез с собою письма от Черняка, подложные манифесты, прокламации, 400 рублей денег и 14 револьверов, заявив при этом, что, когда настанет время, назначенное для начала восстания, в Казань прибудет несколько партий заговорщиков и будут доставлены еще револьверы. При участии Остсенковского и поручика Мрочека у студентов состоялось еще два собрания, на которых Остсенковский и Мрочек предложили новый план восстания. По их мнению, начинать его надо будет не в Казани, где находилось до 1500 вооруженных солдат, а в уездном городе Спасске, где стояла рота, которой командовал

Иваницкий. Надо обезоружить эту роту и двинуться на Ижевский завод, поднимая по дороге крестьян и забирая в казначействах деньги. На Ижевском заводе надо забрать 30 тысяч ружей, которые заготовлены для казны, и, вооружив ими поднявшихся крестьян, итти на Казань и захватить ее. После отъезда Остсенковского из Казани студенты принялись за распространение привезенных им прокламаций; для этой цели Николай Орлов и Дернов отправились в Вятскую губ., Бирюков — в Пермскую, а Ив. Орлов собирался отправиться в Сибирь. Однако еще до приезда Остсенковского в Казань правительству стало известно о подготовлявшемся там восстании. Этим оно было обязано доносу студента Глассона, которого Иваницкий посвятил в свои планы. Аресты, произведенные в конце апреля и в мае 1863 г., привели к полной ликвидации казанского заговора.

[89] Уроженец Иркутска О р л о в воспитывался в местной духовной семинарии. К этому времени и относится знакомство его с знаменитым анархистом М. А. Бакуниным, который с 1856 г. и до его бегства в 1861 г. отбывал в Сибири ссылку.

[90] В данном случае Красноперов ошибается. Захаров его письма к Красовскому не распечатывал и полиции не передавал. О существовании этого письма полиция узнала от попутчика Орлова студента Мих. Шулятникова, арестованного 17 марта за распространение прокламаций по Казанскому почтовому тракту. Шулятников при допросе показал, что его спутник, которого он, скрывая его настоящую фамилию, назвал Иваном Яковлевым, проезжая через Вятку, оставил в местной библиотеке какое-то письмо на имя ее заведующего. Этого указания было, конечно, достаточно для того, чтобы полиция произвела обыск в библиотеке и нашла письмо Красноперова.

[91] Из Вятки Орлов проехал в г. Глазов, Вятской губ., и г. Оханск Пермской губ., откуда вернулся в Казань. В конце апреля 1863 г. он вновь выехал из Казани, направившись в Вятскую губ. 2 мая он был а р е с т о в а н в г. Н о л и н с к е.

[92] К е н е в и ч, Иероним-Станислав Феликсович — поляк, французский подданный, уроженец Минской губ., род. в 1834 г. Кеневич был арестован 5 июня 1863 г. при попытке переправиться через прусскую границу и привлечен к делу о казанском заговоре и о распростране-

нии подложного манифеста в приволжских губерниях. Военно-полевым судом приговорен к смертной казни через расстреляние. Роль Кеневича в подготовке восстания в Казани, оставшаяся неизвестной Красноперову, выяснена нами в предисловии.

[93] Иваницкий, Мрочек, Станкевич и Кеневич были р а с с т р е л я н ы 6 и ю н я 1864 г., а не в мае 1865 г., как пишет Красноперов.

[94] Как сказано в наших примечаниях выше, Станкевич был арестован в феврале 1864 г., а не „долго спустя после казни его товарищей", как пишет Красноперов. Станкевич был р а с с т р е л я н о д н о в р е м е н н о с Иваницким, Мрочеком и Кеневичем.

[95] О р л о в Иван Яковлевич—один из всех студентов, привлеченных по делу о казанском заговоре, был предан не гражданскому суду, как другие студенты, а военно-полевому, наравне с Иваницким, Мрочеком, Станкевичем и Кеневичем. Орлов был приговорен к смертной казни, замененной ему, по конфирмации приговора Тимашевым, 15 годами каторжных работ и поселением в Сибири навсегда. В 1868 г. по высочайшему повелению он был освобожден от каторжных работ и выпущен на поселение. Вопреки сообщению Красноперова, Орлов в Англию не бежал, а остался в Сибири, где работал фельдшером и сотрудничал в местных газетах. Умер в 1902 году в Амурской области.

[96] Б а р о н В е л и о, Иван Осипович (1830 — 1899). — С 1866 по 1868 г. состоял директором департамента полиции и с п о л н и т е л ь н о й министерства внутренних дел. Посещение им Казани относится к 1866 г.

[97] Один из арестованных по делу о „казанском заговоре" Миттерман в перехваченном властями письме к своей матери от 8 февраля 1866 г. писал:

„П. П.* носил от нас письмо к генералу Батезатулло** с жалобой. Он очень ласково принял Орлова и отвечал письменно, что все облегчит. Читая письмо, он остановился на моей фамилии и спросил „Вы знаете М.?" На утвердительный ответ прибавил: „О, это хитрый поляк; он дал взятку смотрителю; бывает у него, играет там на фор-

* Павел Павлович Орлов, б. студент казанского университета привлеченный к делу, но вскоре освобожденный.

** Батезатулло—начальник штаба казанского военного округа.

тепьянах и имеет тайные свидания с какой-то купчихой". Он говорил это обо мне смеясь и добродушно. По этому поводу я высказал Лаврскому: мы тупым не скажем, что они глупы, а только пожалеем их. Ведь я же защищал (быв сам уверен в противоположном), что наш смотритель не подлец, как уверял Полиновский, говоря: „ваш смотритель и взяточник и дурак, а стало быть подлец; он взял с купцов столько-то, с бродяг столько-то"...

Сообщая об этом письме III отделению, казанский жандармский полковник Ларионов между прочим писал: „Что же касается до отзыва Миттермана в том же письме о взяточничестве смотрителя, то это относится к бывшему смотрителю каземата г. Лебедеву, уже отстраненному за неудовлетворительную службу, и назначен хотя другой, но не обещает тоже, повидимому, ничего лучшего".

[98] Статья Чернышевского „Июльская монархия" была напечатана в №№ 1, 2 и 5 „Современника" 1860 г.; перепечатана в VI томе собрания сочинений.

[99] Гибеллинами назывались в средние века, в эпоху борьбы императорской власти с римскими папами, сторонники императорской власти, в противоположность гвельфам, сторонникам папской власти. Императоры в борьбе с папами опирались на аристократию. Ciompi—ремесленные подмастерья во Франции. Popolani grassi (жирный народ)—буржуазия, в противоположность popolani magri (тощий народ)—эксплоатируемому буржуазией рабочему люду.—Данте Алигьери (1265—1321)—знаменитый итальянский поэт, автор поэмы „Божественная комедия", состоящей из трех частей: „Ад", „Чистилище" и „Рай", служащей драгоценным источником для ознакомления с идеями и верованиями людей его времени.—Боккачио Джиованни (1313—1375)—итальянский поэт, автор „Декамерона"—собрания 100 повестей, в которых дано художественное изображение жизни различных классов флорентийского общества XIV столетия.—Петрарка Франческо (1304—1374)—итальянский поэт-лирик.

[100] Из привлеченных к делу о казанском заговоре бежали за границу не двое, а трое. Элпидин скрылся из тюремной больницы 7 июля 1865 г., а 21 ноября 1866 г. бежали из тюрьмы Жеманов и Щербаков.

[101] Приговор Красноперову и его товарищам был объявлен 10 августа 1867 г.

[102] Казанская уголовная палата, рассматривавшая дело о казанском заговоре, приговорила часть обвиняемых по этому делу к каторжным работам, часть же—к аресту на различные сроки. Сенат утвердил этот приговор, после чего он пошел на утверждение Государственного Совета. Между тем 17 мая 1867 г. было издано высочайшее повеление о том, чтобы „все дела политического свойства, касающиеся последнего мятежа (имеется в виду польское восстание 1863 г. *Б. К.*) и беспорядков, имевших отношение к оному, не оконченные еще производством как в следственных комиссиях, так и в судебных местах, если лица, прикосновенные к этим делам, не обвиняются, кроме того, в особых уголовных преступлениях, как-то: убийстве, поджоге и т. п., прекратить, освободив всех обвиняемых от следствия и суда". Вследствие этого высочайшего повеления, Государственный совет постановил объявить всем привлеченным по делу о казанском заговоре „всемилостивейшее прощение" и затем отдать под надзор на 3 года тех, которые уголовной палатой были приговорены к каторжным работам, и на 1 год—приговоренных ею к аресту. И. М. Красноперов был отнесен в первую категорию, так как уголовной палатой он был приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на 8 лет.

ПОДЛОЖНЫЙ МАНИФЕСТ 1863 г.

Божиею Милостию Мы, Александр Вторый
Император и Самодержец
Всероссийский
Царь Польский, Великий Князь Финляндский
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем Нашим верноподданным.

В постоянной заботливости Нашей о благе всех верноподданных Наших, Мы, Указом в 19 день Февраля 1861 года, признали за благо отменить крепостное право над сельским сословием Богом вверенной нам России.

Уступая просьбам помещиков, Мы как ни тяжело было Нашему Монаршему сердцу, повелели однако всем временно-обязанным крестьянам оставаться в течение двухлетнего срока, т. е. до 19 февраля настоящего 1863 года, в полной подчиненности у их бывших владельцев.

Ныне, призвав Всемогущего на помощь, настоящим Манифестом объявляем полную свободу всем верноподданным Нашим, к какому бы званию и состоянию они ни принадлежали. Отныне свобода веры и выполнение обрядов ее церкви составят достояние всякого.

Всем крестьянам, как бывшим крепостным, так и государственным, даруем в определенном размере землю, без всякой за оную уплаты как помещикам, так и Государству, в полное—неотъемлемое и потомственное—их владение.

Полагаясь на верность народа Нашего и признав за благо для облегчения края упразднить армию Нашу, Мы отныне впредь и навсегда освобождаем Наших любезных верноподданных от всякого рода наборов и повинностей рекрутских. Затем, солдатам армии Нашей повеливаем возвратиться на место их родины.

Уплата подушных окладов, имевших назначением содержание столь многочисленной армии, со дня издания сего Манифеста, отменяется. Всем солдатам, возвращающимся из службы, также всем дворовым людям, фабричным и мещанам повеливаем дать без всякого возмездия надел земли из казенных дач обширной Империи Нашей.

В каждой волости, равно в городе, избирает чётырех пользующихся его доверием человек, которые, собравшись в уездном городе, изберут совокупно уездного старшину и прочие уездные власти. Четыре депутата от каждого уезда, собравшись в губернский город, изберут губернского старшину и прочие губернские власти. Депутаты от каждой губернии, призванные в Москву, составят Государственный Совет, который с Нашею помощью будет управлять всею Русскою землею.

Такова Монаршая воля наша!

Всякий объявляющий противное и неисполняющий сей Монаршей воли Нашей, есть враг Наш. Уповаем, что преданность народа оградит престол наш от покушений злонамеренных людей, неоправдавших Наше монаршее доверие.

Повелеваем всем подданным Нашим верить одному Нашему Монаршему слову. Если войска, обманываемые их начальниками, если генералы, губернаторы, посредники, осмелятся силою воспротивляться сему Манифесту, да восстанет всякий для защиты даруемой Мною свободы и, не щадя живота, выступит на брань со всеми дерзающими противиться сей воле Нашей.

Да благословит Всемогущий Господь Бог начинания Наши! „С Нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с Нами Бог!".

Дан в Москве, в тридцать первый день Марта, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят третее, Царствования же нашего в девятое.

На подлинном Собственною
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
рукою подписано:

„АЛЕКСАНДР".

Печатан в Санктпетербурге
при Правительствующем
Сенате.

ПРОКЛАМАЦИЯ КАЗАНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КРУЖКА 1862 г.

Долго давили вас, братцы, мучили работой, секли розгами да кнутами, водили жен и дочерей ваших к барину; все вы терпели; все надеялись, вот-де батюшка-царь вспомнит об нас бедных, да и защитит нас. Вот и вспомнил об вас царь: написал, пять лет тому назад, манифест: хочу-де крестьян освободить. Поверили вы царскому слову и уж как-то, сердечные, молились богу за своего избавителя, а царь тем временем собирал советы из помещиков, судил да рядил с ними и наконец дал вам волю. Прочитали вам эту волю; пораскинули вы умом-разумом, да и призадумались. Ничего-то тут не поймешь, что это за воля такая. Вольные вы люди стали, только земли-то вам не дали, а хотите иметь землю, так выкупайте ее на свои кровные денежки. Вольные вы люди стали, и уж помещик не смеет вас тронуть, да может он пожаловаться начальникам, а те хоть полдеревни готовы передрать или сослать в Сибирь. Не поверили вы этому, не поверили, чтобы царь обещал волю дать и не сдержал своего обещания царского; и подумали вы, что обманывают вас помещики да чиновники, что не царский они вам указ читают. И послал царь вразумить вас своих генералов, и стали вразумлять вас розгами да солдатскими штыками, да пулями. Да уж больно вы, видно, на царя-то понадеялись, и пули-то не разуверили вас. Наконец царь сам в Полтаве велел собрать волостных голов и сказал им: „дошли до меня слухи, что вы ждете через два года какой-то новой воли—никакой вам больше воли не будет"; да велел еще это и в газетах пропечатать. Восьмого сентября нынешнего года праздновал царь в Новгороде тысячелетие России. Некоторые из вас думали, что будет милостивый манифест и что царь даст наконец волю. А он в Новгороде-то сказал народу опять то же, что и в Полтаве: „вы все ждете новых благодеяний, не ждите ничего больше, а торопитесь сделками с помещиками". А вместо милостивого манифеста назначил рекрутский набор. Вот вам и надежда государь!

Нет, братцы, плоха надежда на нашего царя-батюшку. Вспомните-ка сами, кто его советники? Бары да помещики. Так кто же

ему про вашу нужду расскажет; да коли кто и скажет ему, да коли он и захочет что сделать для вас, так те же бары-помещики помешают. Хотел он освободить вас, собрал совет из помещиков—вот они вас и освободили. Вы думали, что царь на то и царь, чтобы слабых защищать от сильных, бедных от богатых; а на деле-то выходит, что вместе с сильными бьет слабых, вместе с богатыми обворовывает бедных. Пророк Самуил сказал народу израильскому, когда советовал ему обойтись без царя: „И поставит (царь) тебе сотники и тысящники; и дщери ваши возмет в мироварницы и поварницы; и села ваши, и виногради ваши, и маслична ваша драгая возмет и отдаст рабом своим; семена ваши и виногради ваши одесятствует; и стада ваша благая возмет и одесятствует на дела своя; и пажити ваша одесятствует, и вы будете ему рабы" (1 книга Царств, гл. 8). И наш царь оказывается, значит, царем самуиловским. Полно же, братцы, утешать себя пустяками, полно надеяться на такого государя.

Вы скажете: на кого же нам надеяться? Надейтесь, братцы, на самих себя да и добывайте себе волю сами. Только помните, братцы, что не следует до поры до времени затевать дело по кучкам, — этак, кроме беды, ничего не добудете. Приведут солдат, велят им стрелять по вас; одних убьют, других изувечат, третьих сошлют в каторгу, а остальных опять отдадут помещикам, и последняя будет горше первых, и себя сгубите и другим пользы не принесете. Другое дело, как все разом скажете: „Будет, мол, терпеть-то нам и от бар и от чиновников. Довольно на них поработали, довольно от них потерпели—время и отдохнуть". Да как все в один голос потребуете себе волю вольную, так тогда и отказать не посмеют и царь со всем своим войском не в силах будет защитить своих холопов-бар да чиновников. Подумайте-ка, братцы, ведь одних помещичьих крестьян 23 миллиона, да государственных 30 миллионов, а войск-то 500 тысяч. Только не торопитесь, братцы, чтобы не испортить дело. Прежде пообдумайте да соберитесь с силами. Знайте, братцы, что и между кафтанниками есть такие, у которых болит сердце за вас, которые всем, чем могут, готовы помочь вам. Они-то и посылают вам этот листок; они же вам и напишут, когда все будут готовы подняться за святое дело, за волю вольную.

А когда все вы будете готовы стоять твердо за свое дело, тогда царь не посмеет отказать вам ни в чем, и тогда можно будет от него потребовать все, что вам нужно и чего теперь не дают вам.

Теперь царь заставляет вас выкупать себе землю; а вы ее спокон веков возделывали, не зная отдыха, сколько раз отстаивали

от врагов, не жался своей крови, следовательно, она и без выкупа ваша. Тогда и потребуете, чтобы землей владели вы, а не царь да помещики.

Теперь податями вас совсем разоряют; а зачем собирают царь да чиновники эти подати и куда их тратят,—ничего вы не знаете. Тогда можно будет требовать, чтобы подати назначались и расходовались не царскими чиновниками, а вами же самими, через выборных людей, которые и будут в каждой копейке вам отчет отдавать.

Теперь для того, чтобы судить да разбирать вас, царь держит чиновников и платит им жалование из ваших же денег. А что вы видите от этих чиновников? Кроме притеснений—ничего. Тогда можно будет потребовать, чтобы не стало этих чиновников, чтобы вас судили и разбирали не царские чиновники, а ваши же выборные люди.

Вот тогда-то, братцы, вы и будете жить без горя, вот тогда-то и будет настоящая воля. Вот такую волю и надо от царя требовать, вот за нее-то и надо стоять до последних сил.

ЛИТЕРАТУРА О КАЗАНСКОМ ЗАГОВОРЕ

А. Ершов.—**„Казанский заговор 1863 г.“** „Голос минувшего“, 1913 г., №№ 6—7.

А. И. Герцен.—**„Полное собрание сочинений“.** Под редакцией М. К. Лемке, т. XVI, стр. 333—368.

Б. Козьмин.—**„Отзвуки польского восстания 1863 г. в центральной России“.** „Красный Архив“, 1923 г., т. IV.

М. Элпидин.—**„Казань в осадном положении“.** „Подпольное Слово“ (Женева), 1866 г., № 2. Перепечатано в **„Материалах** для истории революционного движения в России в 60-х гг.“, под редакцией В. Базилевского (В. Богучарского), стр. 134—147.

„Государственные преступления в России в XIX веке“. Под редакцией В. Базилевского (В. Богучарского), т. I, стр. 123—126, 130.

„Дело Черняка в 1865 г.“ „Былое“ (заграничное), 1904 г., № 6. Перепечатано в „Русской Исторической Библиотеке“, № 5 стр. 138—141.

П. Фирсов.—**„Студенческие истории в Казанском университете 1855—1863 гг.“** „Русская Старина“, 1889 г., № 8.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Агафангел, архиерей. 52. 83, 88.
Аксаков Сергей Тимофеевич, беллетрист. 26, 119.
Алеев Петр, студент, участник казанского заговора. 90, 129.
Амвросий, архимандрит. 18, 45.
Анненский, чиновник. 91, 96.
Афанасенко, чиновник. 131.

Бакунин Михаил Александрович, знаменитый революционер. 95, 133, 135.
Батезатулло, генерал. 136.
Белинский Виссарион Григорьевич, знаменитый критик. 47, 65.
Берне Людвиг, немец. публ. 102.
Берте Эли, франц. беллетрист. 21, 25, 117.
Бирюков Аркадий Афанасьевич, студент, участник казанского заговора. 129.
Блан Луи, франц. социалист. 102, 105, 106.
Боккачио, итальянск. пис. 107, 137.
Брадовский, офицер. 106.
Булгаков Степан Васильевич, мещанин. 90, 131.
Булич Николай Никитич, проф. Казанского универ. 71, 72.

Велио Иван Осипович, барон, директор департамента полиции. 98, 136.
Верещагин А. Н., преподаватель вятской семинарии. 50, 51.
Виноградов, чиновник. 14.
Витберг Александр Леврентьевич, архитектор. 20, 117.
Войнов, чиновник. 103.

Гегель, немецкий философ. 51, 121.
Герцен Александр Иванович, знаменитый публицист. 48, 51, 103, 124, 126.
Глассон, студент, предатель. 5, 135.
Гоголь Николай Васильевич, знаменитый беллетр. 25, 26, 46, 119.
Голтовский, семинарист. 48.
Гольбах, франц. философ-материалист. 102.
Гончаров Иван Александрович, известный беллетрист. 46, 48.
Грановский Тимофей Николаевич, историк, проф. Московск. универ. 37, 119.
Грибоедов Александр Сергеевич, знаменитый драматург. 46.
Григорович Дмитрий Васильевич, известный беллетрист. 27, 71, 121.

Давыдов, казанский губернатор. 98.
Данте, итальянск. поэт. 107, 137.
Декарт, французск. философ. 121.
Державин Гавриил Романович, поэт. 71, 125.

Дернов Василий Васильевич, сельск. учитель, участник казанского заговора. 90, 102, 130, 135.
Диккенс Чарльз, английск. беллетрист. 21, 117.
Дионисий, архимандрит. 83.
Добролюбов Николай Александрович, знаменитый критик. 43, 62—66, 120 — 122.
Достоевский Федор Михайлович, знаменитый беллетрист. 48, 121,
Дружинин Александр Васильевич, беллетрист и критик. 27, 119, 120.
Дубровин, книготорговец. 20.
Дюма Александр, франц. беллетрист. 21, 25, 117.

Елисеев Григорий Захарович, публицист-народн[illegible]. 74, 126.
Елпидифор, [illegible]хис[illegible]. 27, 34.

Жданов, [illegible]ор. [illegible]1, 96, 125.
Жеманов Семен Я[illegible]овлевич, студент, участник казанского заговора. 90, 110 — 112, 129, 137.

Заичневский Пет[illegible] Григорьевич, известный ре[illegible]ционер. 125.
Занд Жорж, и[illegible]ная французск. писательница[illegible], 118.
Захаров Васил[illegible]и Иванович, председатель Вятской земской управы. 95, 135.
Зернов, смотритель тюрьмы в Казани. 103, 104, 108.
Золотницкий Николай Иванович, редактор „Вятских губерн. ведомостей". 49, 60.

Иваницкий Наполеон-Казимир Людвигович, штабс-капитан, участник казанского заговора. 56, 94—96, 132 — 136.
Иоанн Грозный, царь. 12, 117.

Кабардин Павел Васильевич, учитель. 22.
Кабе, французский социалист. 102.
Камков, чиновник. 69.
Карпов, переводчик Гегеля. 51, 66.
Карпов, студент. 132.
Катков Михаил Никифорович, реакционный публицист. 119.
Кеневич Иероним-Станислав Феликсович, организатор казанского заговора. 45, 96, 135, 136.
Кикодзе, архимандрит. 50.
Князев И, студент. 68.
Кожанчиков Дмитрий Ефимович, издатель. 63.
Кольцов Алексей Васильевич, известный поэт. 46, 47.
Корш Евгений Федорович, редактор журнала „Атеней". 125.
Красноперова Анна Марковна, сестра автора. 34, 35.
Красноперова Евгения Ивановна, двоюродная сестра автора. 16 — 19, 27 — 33, 36.
Красноперов Егор Иванович, семинарист, двоюродный брат автора. 90, 127, 128, 130.
Красноперов Иван Гаврилович, дядя автора. 18, 19.
Красноперов Николай Иванович, двоюродный брат автора. 29, 31.
Красноперов Петр Маркович, брат автора. 109.
Красовский Александр Александрович, преподаватель вятской духов. семинарии. 22—27, 36—40, 44—

57, 60—64, 66—70, 75, 79, 81, 88, 95, 118, 127, 128.
Красовский Владимир Александрович, чиновник. 45.
Кудрявцев Петр Николаевич, историк, профес. Московск. университета. 48, 120.
Курочкин Василий Степанович, поэт-сатирик. 62, 73, 122.

Лаврский Константин Викторович, студент, участник казанского заговора. 74, 75, 90, 102, 126, 127, 129, 132, 137.
Ларионов, жандармский офицер. 131, 137.
Лассаль Фердинанд, немец. социалист. 102, 105, 106.
Лебедев, смотритель тюрьмы в Казани, 137.
Леонтьев Павел Михайлович, проф. Московск. университета. 48, 120.
Лермонтов Михаил Юрьевич, известный поэт. 46.

Маколей Томас, английск. историк. 37, 120.
Милль Джон Стюарт, английск. экономист. 98.
Миттерман Рудольф Рудольфович, участник казанского заговора. 89, 90, 130, 136, 137.
Михайлов Михаил Илларионович, известный поэт и революционер. 125.
Мосолов, казанский полицеймейстер. 114.
Мрочек Александр, поручик, участник казанского заговора. 94—96, 132, 134, 136.
Мышкин, преподаватель вятской семинарии. 43.

Нарышкин, флигель-ад'ютант. 99, 131.
Невостроев, семинарист. 58.
Некрасов Николай Алексеевич, знаменитый поэт. 119.

Обручев Владимир Александрович, сотрудник „Современника", революционер. 63, 122.
Обручев Николай Николаевич, полковник, член Земли и Воли 60-х годов. 3.
Огарев, Николай Платонович, известный поэт. 67, 124.
Ольдекоп, прокурор. 99, 104.
Орлов Иван Яковлевич, студент, участник казанского заговора. 90, 95, 97, 127—129, 132, 136.
Орлов Николай Гаврилович, студент, участник казанского заговора. 68, 135.
Орлов Павел Павлович, студент Казанского университета. 90, 129, 136.
Осокин Николай Алексеевич, профессор Казанского университета. 72, 125.
Островский Александр Николаевич, известный драматург. 46, 60, 122.
Остсенковский, см. Сильванд.
Очкин Ампий Николаевич, редактор „Петербургск. Ведомостей". 125.

Падарин, семинарист. 58.
Пеньковский Иван Евграфович, революционер 60-х годов. 90, 130.
Петрарка, итальянск. поэт. 107, 137.

Петров Антон, руководитель крестьянских волнений в с. Бездна в 1861 г. 94, 132.
Писемский Алексей Феофилактович, известный беллетрист. 46, 48.
Полежаев, издатель. 108.
Полиновский Владимир Михайлович, участник казанского заговора. 90, 115, 129, 137.
Поль-де-Кок, французский беллетрист. 21, 118.
Попов, семинарист. 42.
Порфирьев Гавриил Яковлевич, преподаватель вятской духовной семинарии. 47, 53, 60.
Порфирьев Иван Яковлевич, проф. Казанской духовной академии. 47.
Потанин Григорий Николаевич, известный этнограф. 107.
Потанина (урожд. Лаврская) Александра Викторовна, жена Г. Н. Потанина. 107.
Потехин Алексей Антонович, беллетрист и драматург, 27, 121.
Превлоцкий, чиновник. 91, 96.
Прескотт Вильям, американский историк. 37, 120.
Прудон, французск. анархист. 102.
Пушкин Александр Сергеевич, знаменитый поэт. 46.
Пыпин Александр Николаевич, историк литературы. 62.

Решетников Федор Михайлович, беллетрист. 74, 126.
Рождественский Яков Григорьевич, преподаватель вятской духовной семинарии. 44.
Розов, врач. 32, 87.
Романов, семинарист. 48, 50.

Салтыков (Щедрин) Михаил Евграфович, известный сатирик. 25, 118.
Селивановский, семинарист. 48,
Семака, казанский губернатор. 98.
Сергеев Александр Семенович, участник казанского заговора. 90, 129, 134.
Серно-Соловьевич Николай Александрович, организатор Земли и Воли 60-х годов. 3.
Сильванд (Остсенковский) Осип Яковлевич, участник казанского заговора. 134, 135.
Скалон, генерал. 131.
Слепцов Александр Александрович, организатор Земли и Воли 60-х годов. 3.
Слуцкий, полковник. 91, 96.
Станкевич Ромуальд Ильич, подпоручик, участник казанского заговора. 94, 95, 132, 136.
Сю Евгений, франц. беллетрист. 21, 25.

Тацит, римский историк. 48.
Тимашев Александр Егорович, управляющий III отделен. 90, 128, 136.
Толстой Лев Николаевич, знаменитый писатель. 21, 46, 118.
Третьяков, библиотекарь в Казани. 101.
Тургенев Иван Сергеевич, знаменитый беллетрист. 27, 67, 119.

Угянский, профессор Казанского университета. 72.
Устрялов Николай Герасимович, историк, профессор Петербургского университета. 11, 12, 117.
Ушков, купец. 35.

Фейербах Людвиг, немецкий философ. 70, 124.
Фирсов, историк, профессор Казанского университета. 71, 72.
Фонвизин Денис Иванович, драматург. 21, 25, 118.
Фурье Шарль, французский социалист, 102.

Чернышевский Николай Гаврилович, знаменитый социалист. 48, 62, 63, 88, 106, 120, 122—124, 128, 137.
Черняк Максимилиан Андреевич, участник казанского заговора. 5, 6, 132—134, 143.
Чесноков, священник. 127, 128.

Шелгунов Николай Васильевич, известный публицист. 125.
Шестаков, попечитель казанского учебного округа. 94.
Шиллегодский, попечитель казанского учебного округа. 94.
Шлоссер Фридрих, немецкий историк. 48, 70, 120.
Шулятников Михаил, студент Казанского университета. 135.

Щапов Афанасий Порфирьевич, историк, профессор Казанского университета. 72, 74, 75, 125—127.
Щедрин, см. Салтыков.
Щербаков Алексей Яковлевич, студент, участник казанского заговора. 90, 110, 129, 137.

Элпидин Михаил Константинович, революционер 60-х годов. 90, 110, 130, 137, 143.
Энгельс Фридрих, немецкий социалист. 102.

Якушкин Евгений Иванович, этнограф. 49, 121.

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ПРОФЕССУРЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие *Б. П. Козьмина* 3

Глава I. Не ученье, а зубрежка 11
„ II. В семинарию и обратно 13
„ III. Вместо пономарства—в училище 15
„ IV. Чтение книг в засос 19
„ V. Я ищу в себе перемены 23
„ VI. Евгения Ивановна 28
„ VII. В поисках пономаря и жениха 33
„ VIII. Сомнения мучили меня 36
„ IX. Бурсацкие нравы и ученье 40
„ X. Учитель Красовский 45
„ XI. Я мыслю—следовательно, я существую 50
„ XII. Нас выводят в люди 52
„ XIII. Оригинальное лечение от тифа 54
„ XIV. Свечи гасить и сидеть тихо! 55
„ XV. Золотая идиллия юности 60
„ XVI. Добролюбов и „кощунство" 62
„ XVII. Все силы положу за науку 66
„ XVIII. Студенты и профессора 69
„ XIX. Истые демократы—ученики Щапова 74
„ XX. В дальнюю дорогу 76
„ XXI. В больнице для душевнобольных 79
„ XXII. Тюремные мытарства 83
„ XXIII. Наш кружок в крепости 90
„ XXIV. За вооруженное восстание 91
„ XXV. Судьба участников кружка 94
„ XXVI. Тюремные будни 97
„ XXVII. Книги и ремесла 101
„ XXVIII. Угли здесь дороги 103
„ XXIX. Лассаль и Луи Блан в камерах 105

Глава XXX. Судьбы Италии 107
„ XXXI. „Красноперовские плевелы" 108
„ XXXII. Беглецы 109
„ XXXIII. Под надзор полиции 112

Примечания 117
Приложения:
I. Подложный манифест 1863 г. 139
II. Прокламация казанского революционного кружка 1862 г. 141
III. Литература о казанском заговоре 144
Указатель имен 145